

*Мастера современной
литературы*



Герольд БЕЛЬГЕР
Миниатюры

Герольд БЕЛЬГЕР

Миниатюры



Издательский дом "Библиотека Олжаса"
Алматы, 2013 г.

УДК 821 (574)
ББК 84 (5Қаз-рус) 7-44
Б-21

Ответственный редактор
Сафар Абдулло

Бельгер Г.К.

Б-21 «Миниатюры». – Алматы. Издательский дом «Библиотека Олжаса», 2013, - 176 с.

ISBN 978-601-7315-43-6

Эта книга принадлежит перу выдающегося современного казахстанского писателя и мыслителя Герольда Бельгера, пишущего на трех языках – казахском, немецком и русском.

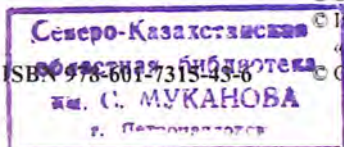
Герольд Карлович Бельгер заслужил особое уважение и почитание среди читательской аудитории благодаря своей писательской бескомпромиссности и честности.

Новая книга писателя состоит из публицистических этюдов из цикла «Плетенье чепухи» и миниатюр о далеком близком, объединенных единым нравственным и художественным началом.

Книга предназначена для широкого круга читателей и ценителей творчества Герольда Бельгера.

555038

УДК 821 (574)
ББК 84 (5Қаз-рус) 7-44



© Бельгер Г.К., 2013
© Издательский дом
«Библиотека Олжаса», 2013
© Ответ. ред. Сафар Абдулло

ЧАСТЬ I

ИЗ ЦИКЛА «ПЛЕТЕНЬЕ ЧЕПУХИ»

НЕТ ГОР, НЕТ УТЕСОВ, А ЕСТЬ ХОЛМЫ, СОПКИ, БУТОРКИ

У казахов во все времена было много выдающихся поэтов. Сам казахский язык создан для высокой поэзии. Я о том говорил и писал не раз. Тем не менее, нынешняя казахская поэзия чудится мне в подавляющем большинстве однообразной, застойной, безликой, будто достигла неких вершин и на этом остановилась или взяла тайм-аут. То есть нет гор, нет утесов, пиков, а есть холмы, сопки, бугорки в плоской, ровной степи. Может, мои ощущения не верны?

В чем дело? Гете в «Поэзии и правде» говорит: «Любая национальная поэзия пуста и неминуемо будет пустой, если она не зиждется на самом важном – на великих событиях в жизни народов и их пастырей, когда все, как один человек, стоят за общее дело».

Может, это «самое важное» и незаметно ускользнуло от современной казахской поэзии?

Может, просто нет того «общего дела», за которое все стоят, как один человек? Может, годы независимости не стимулируют казахскую поэзию на прорыв?

Стихотворцев, убеждаюсь, очень много: казахские газеты и журналы изобилуют стихотворными подборками. Я их читаю в рубриках газет и журналов, и мне кажется, что они на одно лицо, как казахская эстрада, все акыны строчат по одному шаблону, а «цепляют» только Иран-Гаип, Темирхан и покойный Кадыр. Отдельные строки, строфы картину не меняют.

Или не так?

Каким критерием воспользоваться в таких случаях? От какой печки танцевать?

Опять-таки советует Гете: «...значение человека не сводится к тому, что он после себя оставил, а заключается главным образом в том, как он действовал прижизненно и на что откликался, а также в том, пробудил ли он в своих современниках потребность действовать и отдаваться новым веяниям».

С этой точки зрения я вижу в современной казахской поэзии немало изъянов.

МЫСЛЬ БУДИТ МЫСЛЬ

Время от времени читаю Конфуция. Его учение уже более двух тысяч лет является идеологической основой Китайской империи. Вообще-то по-китайски его звали Кун Цю. Конфуций – латинизированная транскрипция.

Личность уникальная, поразительная. Мировая фигура! Его изучают, осмысливают, цитируют во всем мире. Его изречения («Луньюй») и поныне волнуют своей актуальностью. Его называют первоучителем китайской нации. Его последний по времени переводчик на русский язык И. И. Семенов характеризует его так: «Отшельник в гуще толпы – вот кем был на самом деле Конфуций».

На мой взгляд, люди, которые вознесены высоко и правят страной, государством даже в наше время, должны знать его изречения, его философию и примерять их постоянно к себе, дабы точнее определить свое место, свою роль, свое назначение в обществе. Обозначу лишь несколько его максим, представляющих живой интерес нашим правителям и достойным мужам.

– Если будут чтить умерших, помнить предков, то в народе вновь окрепнет добродетель.

– Не печалься, что люди не знают тебя, но печалься, что ты не знаешь людей.

– Если править с помощью закона, улажи-

вать наказывая, то народ остережется, но не будет знать стыда. Если править на основе добродетели, улаживать по ритуалу, народ не только устыдится, но и выразит покорность.

– Напрасно обучение без мысли, опасна мысль без обучения.

– Лишь тот, кто человечен, умеет и любить людей, и испытывать к ним отвращение.

– Когда исходят лишь из выгоды, то множат злобу.

– Благодарный муж постигает справедливость, малый человек постигает выгоду.

– Люди живы тем, что прямы. Коль обманщик жив и цел, то лишь по случайности.

– Я был не знатен в молодости, поэтому знал много простых профессий. А много ли умеет благородный муж? Совсем немного.

– Благородный муж стыдится много говорить, когда же действует, то проявляет умеренность.

– Трудней всего общаться с женщиной и малым человеком. Приблизив их к себе – и станут дерзкими, а удалив – озлобятся.

Остановлюсь. Ибо цитировать Конфуция можно бесконечно. Очень часто, по разному поводу, Л. Н. Толстой ссылается на Конфуция в своем капитальном «Круге чтения». В дневнике 1909 года (незадолго до кончины) он записывает: «Нынче ничего не писал. Только перечитывал Конфуция».

Конфуция следует читать с любой страницы. Как Библию. Как Коран. Как факлии Абая. Это великая книга. Я хотел дать повод моим читателям для осмысления изречений-назиданий Конфуция постоянно. Известно: мысль будит мысль.

МОИ ЭПОХИ

Когда-то Мухтар Омарханович Ауэзов говорил, что он жил в разных общественных формациях – феодально-патриархальной, капиталистической и социалистической. Так получилось.

А ведь и я жил в разной действительности – в советской, постсоветской и постпостсоветской. А сколько генсеков пережил! 19 лет при Сталине, десять – при Хрущеве, 18 – при Брежневеве, потом были Андропов, Черненко, Горбачев... возможно, кого-то уже запомнил. Теперь обитаю уже двадцать первый год в эпоху так называемой независимости, хотя, кажется, и недостаточно сознаю, что это за эпоха.

Вот сколько всякой всячины выпало на долю только одного поколения!

ЕДИНСТВО – БЛАГО. НО КАКОЕ ЕДИНСТВО?

Такая закономерность на уровне тривиальности: к единству народа призывают искони все правители всех времен. Это понятно и логично. Какое может быть общество, государство, если в нем раздраз и склока? Эта основополагающая идея звучит и в древних пословицах всех народов в разных вариациях. Казахи говорят: «Өнер алды – бірлік». Немцы: «Einheit macht stark». Русские: «В единстве – сила». И т.д. Бесспорная истина. Аксиома.

О том же и наш Елбасы уже двадцать один год говорит-напоминает постоянно и неизменно. Однако тут есть нюансы, которые часто упускают из виду. О каком единстве идет речь? В каких формах и масштабах? Какое единство может быть у миллиардера К. и оралмана из Каракалпакии, у которого ни кола, ни двора, а пенсию положили в 27 тысяч тенгушек? Разве резонно звать к национальному единению писателя Д. Д., скромного и тихого труженика пера, скажем, с беглыми олигархами А. и Х.? Или обремененную огромной семьей (восемь человек!), безмужнюю аульную Гульшару-бишару с успешной, благополучной, сиятельной певуньей?

Нет, не получится. Ибо один пляшет от сытости, другой – от холода, как гласит казахская пословица.

Как сделать так, чтобы они чувствовали себя единым народом? Боюсь, доброй воли и благонамеренных призывов Елбасы тут недостаточно.

Что сказал Абай по этому поводу? Читаем:

«Одна из казахских пословиц гласит: «Начало успеха – единство». Но у каких людей бывает единство, и как они добиваются согласия между собой – не знают. Полагают, что это общность скота, еды, имущества, богатства. Если так, то какой прок от богатства, и какой вред от нищеты? Стоит ли трудиться ради богатства, не избавившись прежде от родственников?» Конец цитаты.

Я со своей колокольни: «Ведь разные слои общества саму идею независимости воспринимают по-разному. Для одних независимость – возможность беззастенчиво грабить свой народ, хапать в три горла, налево-направо, для других (большинства!) независимость – пустой звук, химера, тщетное усилие сводить концы с концами».

Абай продолжает: «Нет, единство должно быть в умах, а не в общности добра. Объединить можно людей различных по происхождению, религии, по образу жизни, щедро раздавая им скот. Добиваться единства ценой добра – вот начало нравственного падения».

Любопытный поворот мысли, не так ли?

Возникает идея равенства в достатке. Здесь искони равенства быть не может. По разным причинам. Однако очевидно: не достигнув всеобщего материального благополучия, нет смысла говорить о жизни, о равенстве, о единстве и прочих высоких материях.

Обратимся к Абаю:

«Говорят: «...жизнь – основа достатка». О какой жизни идет речь? О бытии ради того, чтобы душа тело не покинула? Но такое существование и собаке дано. Тот, кто дорожит такой жизнью, трепещет перед страхом смерти, становится врагом жизни небесной. Спасаясь, бежит от врага и слывет трусом, уклоняется от работы и слывет лодырем, превращается в противника истинного благополучия».

И заключает Абай свою мысль так:

«Нет, речь тут о другой жизни. О той, когда душа жива и ясен ум! Если ты жив, но душа твоя мертва, разумные слова не достигнут твоего сознания, ты не сумеешь зарабатывать на жизнь честным трудом. Будучи таким, не сочти себя за живого. Праведная смерть предпочтительнее такой жизни».

Вслушиваемся, осмыслим, задумаемся. И, может, осторожнее, вдумчивее обойдемся со словом-понятием «единство». Дабы оно не превратилось в симулякр, в глас вопиющего в пустыне.

КТО ВО ЧТО ГОРАЗД

90-летний давний и мудрый знакомец Бошай-ага Китапбаев пишет шежере о найманах; 89-летний Музафар Алимбаев сочиняет афоризмы; 88-летний Абдижамил Нурпеисов бесконечно муржит свой мертворожденный роман, надеясь его оживить; 78-летний Герольд ибн Карл аль Дивани плетет свою нескончаемую «Чепуху».

Кто во что горазд.

О КНИГАХ ХОРОШИХ И ПЛОХИХ

Список произведений претендентов на Госпремию Казахстана на 2012 год в области литературы меня сильно насторожил. Я знаю этих литераторов, читал их сочинения, знаком с их общественным реноме. Читал дежурные статьи в СМИ и о них. Честно: не могу их изделия относить к достойной литературе. Потом госкомиссия каким-то образом определила лауреатами двоих. Президент подписал указ.

В личном плане не имею ничего против этих азаматов. С одним из них, кажется, ни разу и не сталкивался. Пишут, как умеют. Неловко мне не считаться и с решением Комиссии по присуждению Госпремии. Однако подозреваю, ни-

кто из членов Комиссии эти произведения не читал или просто бегло полистал по диагонали. Механизм обсуждения кандидатур на Госпремию мне знаком: сам состоял в комиссии многие годы, знаю весь шахер-махер по этой части. Как бы там ни было, решение вызывает серьезные сомнения. Отмеченные лауреатством произведения никак не красят современную казахскую литературу. Это в лучшем случае уровень 20-30-х годов прошлого века. А по нравственной потенции и эстетической направленности они явно ущербны. В них нет творческой свободы, а есть вторичность и третичность, дурновкусие, верноподданническая заданность, ориентация с душком.

Исчерпывающе сказал о такой литературе еще Артур Шопенгауэр: «Плохих книг никогда не прочтешь слишком мало, а хороших никогда не удастся прочесть слишком много. Плохие книги – нравственный яд, притупляющий ум.

Вследствие того, что толпа упорствует читать не лучшие книги всех времен, но лишь новейшие произведения современной литературы, теперешние писатели вертятся в тесном круге все тех же повторяемых идей, все твердят одно и то же, и на нашем веку не вылезает из собственной грязи».

И еще:

«Такие книги крадут у публики время, день-

ги и внимание, которые по-настоящему должны бы доставаться только на долю отборных произведений. Плохие книги не только бесполезны, но положительно вредны».

Помню: два года назад (в 2010 году) было принято решение никому не присуждать Госпремии в области литературы. И это было правильно, хотя кое-кто из литераторов и возмущался. Так же поступить в 2012 году Комиссия не осмелилась. Надо было кому-то дать. А получился пшик, который очень скоро выйдет, думаю, боком.

КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ ПРАВ

В казахской литературе я насчитал 39 народных писателей (последний в списке прозаик Кабдеш Жумадилов, получивший это звание в 1998 году) и 65 лауреатов государственной премии (последние по времени лауреаты Айтов и Досанов). Около сотни литераторов удостоились звания «Лауреат международной премии Алаш». По этим показателям можно смело сделать вывод, что казахская литература функционирует вполне благополучно.

И все же, положила руку на сердце, кто из покойных и живых народных и «олауреатченных» остались в литературе? Ведь большинство ныне даже не вспомнят.

Досадно, конечно.

И международный имидж казахской литературы явно не высок. За рубежом из казахской литературы знают немногих (М. О. Ауэзова, О. Сулейменова, в какой-то мере А. Кекильбаева, М. Шаханова, А. Нурпеисова, Р. Сейсенбаева, Б. Канапьянова).

Словом, негусто.

Вполне возможно, что плохо пропагандируем, популяризируем, рекламируем. То есть не умеем товар показать лицом.

К. И. Чуковский сказал: «Задержаться в литературе удается немногим, но остаться – почти никому».

Скорей всего, мудрец Корней Иванович прав.

ТВОРЧЕСКАЯ МОЩЬ ВЕЛИКИХ

Творческая мощь великих неизменно поражает. «Илиада» Гомера состоит из 15691 строки, «Одиссея» – из 12110. Вместе получится 27801 строка. Колоссально! (Вспомнил: «Фауст» состоит из 12111 строк).

Поэму «Шахнаме» Фирдоуси писал 35 лет, и по объему она в четыре раза больше «Илиады» и «Одиссеи» вместе взятых. Уму непостижимо!

А вот факт из биографии Даниэля Дефо. Все мы читали его «Робинзона Крузо» (полное название «Жизнь и удивительные приключения

Робинзона Крузо». Я эту книгу читал в школе, кажется, в казахском переводе). Дефо написал первую книгу романа за три месяца, обратившись к прозе в 58(!) лет. Через четыре месяца опубликовал вторую книгу, еще через восемь месяцев – третью. Ощущение такое, будто Даниэль Дефо написал всего один роман, а фактически из-под его пера вышло до 350 произведений. Вот как!

А сколько написано Гербертом Уэллсом? Цитирую: «Всего Уэллс написал 40 романов, несколько томов рассказов, два-три десятка работ по философии и о перестройке общества, две всемирные истории, 30(!) томов социально-политических прогнозов, десятки брошюр о вооружении и национализме, 3 книги для детей и автобиографию».

Все эти сведения я почерпнул из книги В. М. Ломова «Сто великих зарубежных писателей» (Москва, «Вече», 2009).

СКОЛЬКО ГОСТЕЙ У КАЗАХОВ

О гостеприимстве казахов написано исстари. И казахами. И другими. Это феноменальная черта нации. Я в том постоянно убеждаюсь, начиная с 1941 года и поныне. Сколько дастарханных почестей было воздано одному мне на разных этапах моей жизни – и будучи аульным

пацаном, и молодым учителем, и зрелым литератором, и в ранге общественного лица! Только диву даешься такой душевной щедрости. Ни русский, ни – тем более – немец на такое неспособны. Это культ, заповеданный предками. Это нравственный кодекс номада. Гость – божий посол. Ему положено все самое лучшее даже в самом нищем доме. Гостю отмеряна своя доля.

Казахи (условно говоря) различают такие виды гостей.

Божий гость («кұдайы қонақ») – самый желанный, самый почетный. Как правило, такой гость и хозяева дома друг друга не знают. Путник запросто останавливается в любом доме. Что ж... Бог послал. И у гостя никаких претензий, и хозяева привечают его радушно, без каких-либо докучливых расспросов. Таков вековой этический закон. Или ритуал, как хотите.

Специальный гость. Традиционный. Так сказать, узаконенный («Арнайы қонақ»). Это, как водится, дальние и близкие родичи, свойственники, сваты, друзья. Они приходят-приезжают по приглашению. Или просто так с визитом вежливости. Таких гостей принимают со всякими почестями, щедро одаривают, оплачивают дорожные расходы. Все как положено, согласно национальным традициям.

Учтивый (вежливый) гость («Сыпайы қонақ»). К этой категории относятся люди

видные, известные, занимающие высокие служебные посты. Люди они занятые, времени в обрез. Соответственно принимают их по укороченной, динамичной программе, с учетом их общественного и социального реноме. Высказывают подчеркнутое внимание и почет, с учетом чести и достоинства. Хозяева очень стараются не ударить лицом в грязь.

Праздничный гость, гость-гуляка («Қыдырма қонақ»). Это, известно, вольные люди, без церемоний. Захотелось – пошел в гости. Не спросясь. Просто так. Завалился и все. И хозяева рады. Уважает, значит. Вспомнил. Дурного не желает. Пришел дать салем. Что ж... Милости просим. Как говорится, чем богаты...

Деловой гость. Гость по долгу («Шақырыспа қонақ»). Гость как бы по обязанности, по ритуалу. Скажем, приехал с учебы, вернулся с солдатской службы, из длительной поездки, командировки, собирается в путь, намерен жениться или приглашает на день рождения. То есть, он гость целевой, с конкретной обязанностью. Такому гостю казах тоже рад.

За свою немалую жизнь я познал статус всех этих видов гостя. При том в разных областях – в родном ауле в Северо-Казахстанской области, в Семее, Павлодаре, Костанае, Шымкенте, Джамбуле, Кызылординской, Актюбинской, Мангистауской, Атырауской областях, в Алма-

ты. И обо всем этом мог бы рассказывать долго, подробно, с восторгом, добротой. Любой вид гостя обладает своими прелестями. И я через все это прошел.

Помню, отец всегда поражался этому казахскому феномену. В военные и послевоенные годы он, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, обслуживал казахские аулы Ибраево, Коктерек, Мектеп, Жана-жол, Жанаталап, Каратал, Алка-агаш и два русских поселения Козловка и Карачок. Так вот, в казахских аулах в какой бы дом ни заходил, его непременно угощали всем, чем бог послал – топленым, соленым маслом, айраном, куртотом, иримчиком, лепешкой или поджаренной на бараньем сале пшеницей, толченым просом, часм. Всем, чем хозяева располагали. В русские же села отец заезжал со своим харчем – краюшкой хлеба, луковицей, яйцом, солью, которыми подкреплялся в одиночку. Русские не предлагали фельдшеру-спецпереселенцу даже кружки воды. Такие нравы. Такой контраст. Я думаю, это не от бедности вообще. А от бедности души и нравственного ориентира.

В ЧЕМ ИЗЮМИНКА?

Убедился: у каждого человека есть некая изюминка, которую нужно только разглядеть.

В каждом человеке скрыта некая тайна, о которой он зачастую и сам не догадывается.

Сколько людей я встречал из так называемых простых, которые живут, добывают свой хлеб насущный, плодят детей, как-то ничего вокруг не замечая, не интересуясь тем, что происходит в высоких сферах, в обществе, в государстве. Им нет никакого дела до шумных форумов, до политических шоу, до клановых и групповых интриг, до разного рода уфит-суфитов и шахеров-махеров. Они живут, как бог на душу положил. И их большинство. О них почти не пишут, их мало знают, с ними не считаются. Я их встречал повсюду – в казахских аулах, в немецких дорфах, в русских деревнях.

Бунинский рассказ «Сны Чанга» начинается такими словами: «Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле».

Верно. Я бы сказал только не «живших», а «живущих».

Если честно, меня, как писателя, интересуют именно такие люди – тихие, незаметные, неброские.

Вот герой бунинского рассказа «Забота» – Авдей. Читаем: «Авдею шестьдесят семь лет:

скоро умирать. Особой нужды он никогда не знал, от бед, несчастий бог его миловал.

- Расскажи что-нибудь интересное, что было в твоей жизни, - сказал ему однажды молодой барин.

- У меня, слава богу, ничего такого не было, - ответил Авдей, - вот семьдесяток живу, а благодарю бога, интересного ничего не было».

Для художника именно этим он и интересен. Далее Бунин замечает: «Но заботы всю жизнь поедом ели его».

Это так. Скольких, к примеру, казахов с самого рождения заботы поедом едят? В большинстве глухих аулов нет ни воды, ни электричества, ни тепла, ни работы, ни просвета. Мрак и безнадега.

Ничего в жизни не было, кроме забот. Житейских. Повседневных. Непосильных. Ради банального выживания. И на этих заботах держится вселенная.

В зарисовке «Далекое» Бунин пишет о некоем «неслышном, незаметном, скромнейшем в мире» Иване Ивановиче, «человеке уже стареньком и довольно потрепанном».

Через абзац о нем сказано: «Что-то делал, зачем-то жил на свете и он».

Так живут миллионы и миллионы Ивановы Ивановичи. Их только зовут в разных местах по-разному.

И художникам подобает их видеть и описывать их дивное – несмотря ни на что – бытие.

«ҚЫЗ ЖІБЕК» НА ЛАТИНИЦЕ

Давний знакомец, профессор Дюсен Касеинов, ныне генеральный секретарь Международной организации по культурным связям «Турксой», обладатель многих талантов, в чем я имел возможность убедиться не однажды, привез мне знаменитый эпос «Kiz Jibek» (kazak Ask Dastani). Издание совершенно уникальное (Organ Ankara), на казахском и турецком языках. При этом казахский текст воспроизведен латиницей, дабы казахам, проживающим в Турции, удобней было читать, поскольку, понятно, они с кириллицей не в ладу. Я с удовольствием полистал книгу. Казахский текст, воспроизведенный латиницей, читается с некоторым напрягом, но для меня вполне доступно.

Параллельно, по правую сторону страниц, приводится турецкий перевод, который я разбираю по общему смыслу с пятое на десятое. Но это интересно и любопытно. «Турксой» сделал, несомненно, полезное дело.

Издание снабжено вступительным словом Д. Касеинова, статьями академиков, докторов филологии С. Каскабасова, З. Ахметова, комментариями М. Гумаровой и Н. Смирновой. Объем книги 276 страниц большого формата. Ко-

личество поэтических строк 2705. Книга изящно – на восточный лад – оформлена, иллюстрирована. Издание приурочено к 500-летию романтического дастана о любви – памятника всего тюркского мира. Я рад, что являюсь обладателем этой замечательной книги. Достойный факт культуры.

КОМПЛЕКСЫ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ

К покойному, всемирно известному композитору Альфреду Шнитке (кстати, моему ровеснику и земляку по Волге – мы оба родились в городе Энгельсе) я испытываю давнюю приязнь. Меня привлекают не только его произведения, но и исповедальные беседы, которые он вел с Александром Квашкиным («Беседы» изданы книгой в 2005 году), его гражданские позиции и вольные рассуждения.

Весьма оригинальная, уникальная личность.

По национальности он полукровка (отец, Гарри Шнитке, – австрийский еврей, мать, Мария Фогель, – поволжская немка). И на этом пунктике он был зациклен. В нем все перемешалось – русский дух, немецкий язык, еврейская ментальность. Собеседник говорит:

- Ты все время подчеркиваешь, что ты – еврей.

Альфред отвечает:

- Нет, я не подчеркиваю. Это для меня очень сложный и большой вопрос, который меня всю жизнь мучил.

Понятно, композитор по этой части комплексовал. Чувствовал себя не очень уверенно.

Он говорит: «Мне нет дома на земле, я это понял. В России я – еврей или немец. Попав в Германию, тут же начинаю ощущать то, что меня от немцев отделяет. Причем тройне отделяет – как происходящего из России, как еврея, не знающего еврейского и как родившегося в немецкой области, но в СССР. Там я – русский композитор».

Еврейский элемент его индивидуальности преследовал повсюду. Он подчеркивал: «Клара, жена Хренникова, – еврейка; жена Щедрина, Мая Плисецкая, – тоже еврейка; жена Туликова, бывшего секретаря Союза, – еврейка. И жена Андрея Петрова, руководителя Ленинградского Союза, – тоже еврейка».

Я читаю это и тоже задаюсь вопросом: «Ну, и что? Разве это о чем-то говорит?»

Моя жена, например, по отцу – татарка, дочь Закира; по матери, Александры Степановны, – мордовка (с примесью). Я о том не задумывался ни тогда, когда женился, ни теперь, когда прожил с ней 55 лет. Главное: на мое русско-немецко-казахское творчество это

обстоятельство никаким образом не повлияло. И вообще, по мне, разве у женщин бывает национальность? Бывает пол – это уж точно. И в этом суть. У моего старшего друга Абдижамилла Нурпеисова жена тоже не еврейка, хотя сам он, сказывают, еврей из рода жакаим.

Еще Альфред говорит:

- По языку молитвы, языку восприятия принадлежу не к немецкому миру. Я принадлежу к русскому миру. Для меня вся духовная сторона жизни охвачена русским языком. А вместе с тем я католик. Действительно, получается странно. Академик Борис Викторович Раушенбах, из «русских» немцев, на склоне лет принял православие; Альфред Шнитке, иудей и лютеранин, стал католиком.

Понимаю: с таким мироощущением Альфреду жить было непросто. Сомнения терзали его всю жизнь.

Допускаю, что и у меня не все просто. Но более ясно и определено. По крайней мере, внутреннего раздора, разлада я не чувствовал никогда. И никакой я не католик и не лютеранин. Я просто атеист. Не воинственный. В шутку я называю себя лютерманином, то есть родители, предки были лютеране, а сам я вырос в мусульманской среде. Отсюда лютерманское вероисповедание, которое в реальности не существует.

С раннего детства я твердо знал, что родом из поволжских немцев, позже выяснил, что предок мой в восьмом колене, Андреас Бельгер, прибыл в Россию из гессенского княжества еще при Екатерине Великой (горжусь тем, что награжден «Екатерининской» медалью – друзьям говорю: «медаль моей прабабки»). Депортирован в 1941 году в Казахстан. Проникся казахским духом. В немалой степени оказаховался. По части национальности никогда, ни при каких обстоятельствах не комплексовал. По рождению – россиянин. Отшлифован, отрихтован, пожалуй, русской культурой и русским языком. По этническому происхождению – немец. А живу уже более семидесяти лет среди казахов в полном согласии и душевной гармонии с собой.

Значит, в моем мироощущении я отличаюсь от Альфреда Шнитке именно этим.

И еще Альфред признается:

«Я хочу жить там и здесь, я хочу жить здесь и там, я хочу иметь возможность сам решать, где я нахожусь, и сам решать, когда я могу вернуться сюда, а когда нужно уехать».

И этой проблемы у меня лично не было и нет. Никаких туда-сюда, там или здесь. Абсолютно точно знаю, что не мог бы жить ни в Германии, ни в России. Тут все четко: только в Казахстане я дома. Только здесь я чувствую себя востребо-

ванным. И никуда душа не рвется, хотя и чувствую изъяны своего бытования.

«Беседы» с Шнитке я не только читал и перечитывал, невольно сопоставляя его жизнь со своей, но и конспектировал.

Хорошо сказал об Альфреде Шнитке Геннадий Рождественский. «В чем вы видите общие черты Альфреда и Шостаковича?» - спрашивает у него корреспондент. И прославленный дирижер отвечает: «Мне кажется, что Альфред – такой же, как Шостакович, летописец времени, перевернувший следующую страницу летописи России в музыкальном искусстве».

Умер Альфред Шнитке после третьего инсульта 3 августа 1998 года в Германии. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

«ДА» ИЛИ «НЕТ»

На любой вопрос даже самый сложный я всегда стараюсь отвечать: «Да» или «Нет». То есть определенно, однозначно. И считал это достоинством. Принципиально. Потом прочел в каком-то произведении Томаса Манна, что так отвечает обычно наивный человек. Мудрец якобы отвечает: «Да. Нет. Да.»

Я до этого еще не дорос. Значит, еще не мудрый.

ЧТО ЗНАЧИТ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН?

В казахской литературе одно время он шел сплошным потоком. Я их читал не один десяток – Есенберлин, Кекильбаев, Магаун, Досжанов, Жунусов, Жумадилов, Нурпеисов, Алимжанов, Сматаев, Алдамжаров, Досмамбетов, Мухамбеткалнев и т.д. Некоторых я даже переводил на русский язык. Это, как правило, были длинные, как тонкая баранья кишка, повествования о том, *что было*, что и *как происходило*.

А, по словам Томаса Манна, история – это то, что *продолжает происходить* во времени. Это и есть самое трудное и *необходимое*.

СКРОМНЫЙ – ЭТО КТО?

Диалектика присутствует во всем. Она отражена в житейских премудростях, в пословицах и поговорках, в сентенциях мудрецов всех народов.

Один из нравственных постулатов заключен в призыве быть довольным малым. К этому призывают многие признанные философы. И это, думаю, каноническая истина.

Библейский Иаков в тетралогии Томаса Манна «Иосиф и его братья» говорит, однако, так:

«Если человек доволен малым, то и бог не беспокоится о нем, не желает ему большего и не осеняет его благословляющей дланью».

А ведь вполне резонно. Жыламаған балаға емшек қайда? (Дитя не заплачет, мать к груди не приложит). Какое дело Всевышнему до того, кто и так доволен малым?

Помню, Олжас (Сулейменов) когда-то в Союзе писателей Казахстана выразился в том духе, что в отношении себя быть скромным – похвально, но в отношении к требованиям общества – предосудительно. По-большому, пожалуй, верно.

АТЕИСТ И АБСОЛЮТ

Люблю читать дневники и записные книжки Льва Толстого и проецировать его нравственные постулаты на мое нынешнее душевное состояние. Возможно, кому-то это может показаться смешным, но я руководствуюсь абаевской сентенцией: «Болмасаң да, ұқсап бак» (то есть, «хоть и не можешь стать таким, то постарайся быть похожим»). Толстой постоянно и упорно рассуждает о Боге, о всеобъемлющей Любви, которая в его понимании и есть Бог.

Ну, а я-то атеист (так воспитан), для меня Бог есть Абсолют, высший разум, некая всеобра-

зующая вселенская тайная Сила (тут повлиял на меня академик Борис Викторович Раушенбах при личной беседе, когда мы находились в Госкомиссии по восстановлению Республики немцев Поволжья). И нравственно мне очень близок совет Льва Толстого: «Не делай только того, что противно Его воли и воле твоего настоящего «Я», и ты будешь делать то самое нужное и хорошее, что ты можешь сделать».

Я этот совет воспринимаю сердцем и им руководствуюсь.

НЕ ПРОСИ

Известны библейские заповеди: не убий, не укради, не прелюбодействуй... Л. Толстой пишет в дневнике 1909 года: к ним надо прибавить – не проси.

Верно: не проси. Ни у кого. Ничего. Попрошайничество – отвратительно. Я знаю многих попрошаек в политике, в литературе, в быту. У многих попрошайничество вошло в плоть и в кровь.

«Не проси, – сказано в «Мастере и Маргарите», – сами дадут».

Я лично стараюсь следовать этому принципу.

ОБАЛ-САУАП

Иногда Акселеу Сейдимбек меня ошеломлял. То доказывал, что казахское «Әуп!» (возглас при вставании или поднятии тяжести) происходит от немецкого предлога «auf». Более чем сомнительно. Потом уверял меня, что русский «типун» от казахского «тіпә». Я возражал: казахское «тіпә», скорее всего, от русского «тьфу».

Постучался к Далю. «Типун – птичья болезнь, хрящеватый нарост на кончике языка! Снять типун, содрать иглой. Типун тебе на язык! Брань за вздорную болтовню, за остратку».

Значит, «тіпә» тут не при чем.

Акселеу был весьма образованным человеком (доктор филологии, профессор, этнограф, историк, писатель), щедро талантлив. Но порой его заносило. И переубеждать его бывало трудно.

Любил он казахскую нравственную категорию «обал-сауап». «Найди-ка этому понятию русский адекват», - приставал он ко мне. Я не находил. Нечто близкое к греху и расплате, но не совсем то. Полноценного адекватата не находил ни в русском, ни в казахском языках. «Ну, и что это за народ, который живет без таких основополагающих понятий?!» - победно вопрошал Акселеу. «Обал-сауап» – на этом по-

строено национальное мировосприятие. В этом суть номадической этики.

КАК ИГОЛКОЙ ВЫКОПАТЬ КОЛОДЕЦ?

В аспирантуре (1960-1963 г.г.) по теме диссертации я ознакомился с учебными программами классической гимназии, реальных училищ, русско-туземных двух- и четырехклассных мектебов, церковно-приходских школ и духовных медресе. Это было интересно и поучительно. И в старых дореволюционных школах учились не просто «чему-нибудь и как-нибудь», а довольно серьезно и основательно. Ученики и шакирды тех учебных заведений в большинстве своем обретали в поте лица знания, необходимые в жизни, а не валяли дурака и не гоняли балду. То же можно сказать и о бухарских медресе. Там не только занимались постылой зубрежкой.

Именно в те годы я прочитал роман Садриддина Айни «Бухара» в переводе с таджикского Сергея Бородина. Вот что я прочел в этом романе.

«В бухарском медресе проходили арабский язык – морфологию и синтаксис, логику, риторику, естественные науки в богословском понимании, правила омовения, поста, похорон,

паломничества в Мекку, закят, порядок купли и продажи, правила рабовладения и освобождения рабов, правила брака и развода и тому подобные установления шарията, знания которых было необходимо при религиозной или государственной деятельности».

Учились в медресе 19 лет. Бухара считалась центром богословия не только для мусульман Средней Азии, но и среди башкир, татар, дагестанцев и за пределами СССР.

«Восемь лет ученик тратил на усвоение арабской грамматики».

Айни язвительно описывает методику обучения. То, что можно было усвоить за час, долдоносили восемь часов.

Я довольно сдержанно отношусь и к нынешним программам, и к учебникам, и к методическим разработкам. Что меня в основном тревожит? То, что все эти учебные компоненты отвращают учащихся от самостоятельного мышления. Пошла тенденция идти по легкому пути: тыкать пальцем по методу ЕНТ, обводить кружочками предположительно правильные подсказки в опросной анкете, сдувать, скачивать из интернета какие-то тексты, совершенно не вникая в смысл. А это ведь хуже механической зубрежки. Это ведет к откровенному тупизму. Вырастает безмозглое поколение. Раньше казахи говорили: учиться – все равно, что иглой выкопать колодец. Нынче этот постулат не сра-

батывает. Учиться понарошку, для отвода глаз, на дурнях, обманывая себя и других, лишь бы заработать оценку, раздобыть любой ценой аттестат, диплом, сертификат. А в голове при этом ветер гуляет.

Явно что-то не так. Это я говорю как педагог по базовому образованию, как методист по преподаванию русского языка и литературы.

ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ БАРСА

Должно быть, я что-то не понимаю и, видимо, неправ. Но меня смущает, что орден «Барыс» («Барс») имеет три степени. Вот в 2012 году писателя Шерхана Муртазу наградили орденом «Барыс» первой степени, а писателей Какимбека Салыкова и Султана Оразалинова – «Барысом» третьей степени.

Первую степень я воспринимаю так: это настоящий, полноценный барс, а вторая степень это кто? Кошка? Тогда третья степень барса, получается, крыса или мышь.

Странно как-то.

То же и с орденом «Достык» («Дружба»). Первая степень, надо полагать, настоящая дружба. А вторая степень что? Дружба второсортная? Наполовину? С душком? Так себе?

Не пойму.

И почему седовласый, престарелый акын Какимбек, получив барса третьего разряда, с таким гордым видом встал при фотографировании в первый ряд по правую руку Президента? Или ему все равно, какой «селкебай» прицепили к пиджаку?

ЧЕЛОВЕК КУЛЬТУРЫ

Ну, вот и он, всеобщий любимец, высокородный и разнодаренный, славный и мудрый азамат народа, златоуст, преодолев семь крутых перевалов и взобравшись на вершину горы, откуда простираются неоглядные просторы, тихо, скромно отмечает свой юбилей.

Родился он 1 января 1943 года. Родители его – выдающиеся личности. И сам он всеми признанная, незаурядная личность. И по возрасту он пережил своего гениального отца. Тәуба, тәуба! Судьба его закалила, испытала изрядно, щедро одарила талантами, обласкала и вознесла на гребень славы.

Он из разряда избранников Земли.

Шикарную книжку издал о нем наш таджикский собрат Сафар Абдулло. В сборник вошли 25 статей, эссе, воспоминаний – искренних, проникновенных, исповедальных, сплетенных из слов, идущих от души, от сердца.

Читаю эту книжку, названную «Человек культуры» (ИД «Библиотека Олжаса», 2012), и испытываю гордость за своего современника, за младшего собрата по перу, по умунастроению.

Такие феноменальные личности украшают жизнь и наполняют смыслом наше бытование на земле.

Я говорю о Мурате Мухтаровиче Ауэзове.

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Я все стараюсь предугадать основное направление казахской литературы в настоящее время. И мне никак не удастся провидеть его. А, может, этого направления и нету? На мой взгляд, за годы независимости (очень, кстати, условное понятие) казахская литература так и не обрела четкого очертания. В 70-80-ые годы прошлого века она была, как мне видится, направлена на ясные цели: на историческое самосознание, на большие национальные надежды, на свободолюбивые мотивы, на гражданские порывы, на поиски своего национального пути, на осуществление вековых чаяний. Это проглядывалось в исторических и остросоциальных романах, в широко охватных, многоплановых эпопеях, в поэмах-дастанах, осмыслявших

прошлое и настоящее казахов, в желании пробудить сознание подавленных и угнетенных. Вспомним произведения Кекилбаева, Магауина, Жумадилова, Есенберлина, Нурпеисова, Ахтанова, Алимжанова, Сматаева, Дж. Мулдагалиева, Мурза-Али, О. Сулейменова, Досжанова и других. С достижением основной цели – независимости страны явно обозначился спад, некоторая растерянность, разброд, едва ли не застой. Оскудел исторический роман с опостылевшими ханами, беками, биями, батырами, конокрадами-барымтачи, мифическими ристалищами с джунгарами, надуманными коллизиями, поблек, выдохся социальный роман, докатившись до «Ак орды» и «Двадцатый век», до убогих и пустозвонных од профессиональных аллилуйщиков-жарапазаншы и благонамеренных жопеке. Затянулась эта темная (или серая?) полоса. Дошло до того, что Госпремии давать некому и не за что. Наступила фаза обскурации (затухания, понижения) по терминологии Льва Гумилева.

На что следует (или можно) делать ставку в будущем? На осмысление и художественное отражение современного казахского бытия. То есть, в первую очередь, на социально-философский роман.

Генрих Манн на заре XX века писал: «В двадцатипятилетнем возрасте я сказал себе: не-

обходимо писать социальные романы о современности. Немецкое общество не знает самого себя. Оно распадается на незнакомые друг другу слои, а правящий класс кажется скрытым в облаках».

Ну, не о нашем ли современном обществе это сказано?

Значит, что нужно современной казахской литературе? Социально-политический роман!

Вот на него пока что редко кто замахивается. Но, чудится мне, он вот-вот наберет силу. Общество наше достаточно сложное, и оно, как никогда, нуждается в остром и объективном социально-политическом анализе и философском осмыслении.

Ждем-с...

СНЕГ, СНЕГ...

Надрываются вороны: кар, кар, карр. Вороны, конечно, местные, ибо на государственном языке кар – снег.

А снег идет, идет. Мокрый, тяжелый. Не идет – валит. Жадно набрасывается всей тяжестью на покорно стелющиеся под ним ветви елей и тополей.

Я стою на балконе и любуюсь царством Берендея. Разгулом белой стихии. Все погрузи-

лось в глухую немоту. Едва слышен лишь шелест снежных волн.

Третий месяц, занедужив, пребываю в четырех стенах. Ослаб. Одряхлел. Тоскую по весне, по надежной тверди. Может, восстановлюсь...

Соскучился по Чокану. Он совсем рядом, за поворотом, за углом нашей высотки, чуть выше по аллейке, напротив посрамленной Академии наук. В полном одиночестве. Снег – представляю – мохнатой шапкой покрыл его гордую голову, лег на плечи, на руки. И он застыл в глубокой задумчивости. Не слышит ни детский гомон, ни мудрых бесед поредевших в последние годы стариков, чертивших совсем недавно за кругом круг у его подножья. Почти четыре десятка лет я совершал здесь свои регулярные прогулки и проводил деловые встречи.

Он звал соплеменников к просвещению и свободе.

Дозвался ли?

Он вслушивался в неторопливые беседы стариков, сетующих на быстро текущее время, на обманчивый мир – жалған дүние.

И что услышал?

Мне всегда бывало приятно с ним беседовать. Я внимал ему, и он меня понимал. Нередко мы говорили с ним на одном языке.

Покойный литературовед Есенгельды, завсегда у наших прогулок у Чокана, немало

повидавший на своем веку, говорил нам, своим более молодым компаньонам: «Пройдет время и вас останется здесь трое, потом – двое, а потом – один. Он!»

Похоже, к этому идет.

Уже почти четыре месяца я не посещаю Чокана Чингисовича Валиханова. И мне грустно. И я соскучился по нему как по родному человеку.

Может, и он обо мне вспоминает?

Снег, снег... Все вокруг белым-бело. И разлапистые ветви елей поникли под белой тяжестью.

И я взираю с балкона на дивный божий мир.

ХАНЕКЕ

Настоящее его имя было Хан Дэ Ён. Так он упоминался в писательских справочниках. Но мы, коллеги, все называли его Хан Дин. И он себя так назвал. Его все любили. И казахи обращались к нему учтиво на свой салтык – Ханеке. На редкость милый, симпатичный был человек. Улыбчивый, тихий, скромный, стеснительный, доброжелательный. В Союз писателей Казахстана мы пришли примерно в одно время. Я возглавлял Совет по немецкой литературе, он – по корейской. Печали и заботы наши были схо-

жи. Я часто навещал его в рабочем кабинете, слушал его своеобразную, с неистребимым акцентом русскую речь, узнавал кое-какие детали из его драматической и трагической биографии, листал какие-то фолианты с корейскими иероглифами, пухлые словари, удивляясь тому, как он в них разбирался. Моему разумению это было недоступно.

Я с детства тянулся к эмигрантам, изгоям. Люди, лишённые воли и прав, встречались мне в военное и послевоенное время едва ли не в каждом казахском ауле. Вплоть до конца 1956 года. И даже позже. А те, кто находились под надзором, не имели паспорта и регулярно «отмечались» в милиции (в комендатуре) были моими братьями. Потому я испытывал к щуплому, немного загадочному, порывистому, с налетом неприкаянности корейцу Ханеке братские чувства. Он был старше меня на три года.

В начале 90-х годов мне позвонили и сообщили о кончине Хан Дина. Меня эта весть ошеломила. Я тотчас отправился в Корейский драмтеатр на панихиду. Ветхое здание театра находилось на ремонте, и гроб с телом Хан Дина выставили в убогом, затхлом боковом помещении. Народу собралось немного. Я постоял с незнакомыми людьми у гроба, плохо соображая, что милый Ханеке ушел навсегда. Тут подъехали Олжас Сулейменов (он, замечу,

очень тепло относился к Хан Дину, который, кстати, Олжаса просто обожал) и Калдарбек Найманбаев, и я вместе с ними встал в почетный караул второй раз. Потом подошли к убитой горем русской женщине, приобняли ее и промямлили ненужные в таких случаях жалкие и пустые слова.

Хан Дин особенно тесно дружил с уйгурским писателем Хизметом Абдуллиным. Я их помню неразлучными в писательском десанте в Москве и Подмосковье по поводу добровольного присоединения Казахстана к России. Было такое торжественное, помпезное мероприятие. Помню, как в ненастный, сырой день мы, казахстанская делегация, месили вязкую грязь на Бородинском поле. И Хизмет, и Ханеке, поддерживая друг друга, — один массивный, плотный, другой — поджарый, легкий — плелись в хвосте делегации и дружно ругали по-уйгурски, по-корейски и по-русски и Чингисхана, и Мамаю, и Наполеона, дескать, нашли место для сражения. И охота им было подмосковную грязь месить. Хоть бы лошадей пожалели... На обратном пути после посещения районного захудалого ресторанчика, где угощали казахстанцев водкой и пастеризованным молоком, Хизмет-ака и Ханске уселись в обнимку на заднем сидении несуразно огромного и тряского автобуса и, похихикивая, затеяли разго-

вор о дебелых официантках. Да так увлеченно, с забавным русским акцентом, будто больше и не о чем было говорить в этот беспросветно дождливый день.

Счастливым и по-юношески целомудренный был человек наш Ханеке!

В 2011 году ему было бы 80 лет. Его помнят и в Корее, и на Алтае, и в Москве, и в Казахстане. Вернуться на родину он не мог: учась в Москве, он попросил политическое убежище.

Я с теплотой вспомнил о нем, прочитав в «Просторе» (№ 12 за 2012 г.) проникновенные статью и стихи Любви Шашковой, эссе Геннадия Доронина и блистательный рассказ Лаврентия Сона.

А сам Хан Дин был плодотворным драматургом (19 оригинальных пьес), прозаиком (рассказы, повести) и переводчиком 14 пьес зарубежных драматургов. Досадно, что все меньше остается людей, помнящих его.

Я – помню.

ЧАСТЬ II

МИНИАТЮРЫ ИЗ ЦИКЛА «МОЙ ОТЕЦ – КАРЛ БЕЛЬГЕР»

МАЛЕНЬКИЙ КОРОЛЬ

Майн Готт, как давно это было! О том времени и вспоминать-то уже некому...

Мне только недавно исполнилось шесть лет, и я почему-то живу не с родителями, а в большой семье дяди Вильгельма – папиного брата. В этом селе, Мангейме, у папы живут четверо братьев и две сестры и мамины четыре сестры и двое братьев. И еще две моих бабушки – гроссмуттер Элизабет и Олинда. А двоюродных братьев и сестер столько, что я не в силах их ни сосчитать, ни запомнить. И все меня любят, наверное, потому, что я городской мальчишка, ухоженный, чистенький, не по-деревенски одетый, то и дело сбивающийся невольно на потешную для моих сверстников русскую речь, вызываю какое-то любопытство.

Но мне это невдомек. Мне уютно в доме дяди Вильгельма (в селе произносят Виллем), и мои значительно старшие двоюродные братья – Виллем (у немцев на Волге было принято

старшего сына называть именем отца), Иоганнес, Фриц – меня всячески опекают.

Вильгельм в то время уже женихался, брал меня на вечерние посиделки. Со своей зазнобой они устраивались на завалинке, лузгали поджаренные тыквенные семечки, миловались, несли какой-то вздор, а я терпеливо ждал, когда кончится их свидание, и Вильгельм – степенный, видный из себя парняга при галстукe (!) – посадив меня, полусонного, на плечи, деловито отправится уже при густых сумерках домой.

Иоганнес, или просто Ганс, тащил меня на колхозную конюшню, на кузню, на мельницу, где все было мне в новинку.

А непоседа, озорник Фриц, рыжий и конопатый, учил меня разным деревенским дразнилкам, частушкам-шнеркелям, среди которых, как я смутно догадывался, попадались и явно непотребные.

В доме моего дяди – кряжистого, усатого, курившего короткую трубку-пфайфу – вкусно пахло семечками, капустой, самосадом и разной стряпней.

Приближался Новый – 1941-й – год. В селе царило радостное оживление. Вечерами со стороны клуба доносились слаженные звуки духового оркестра. В каждом доме стряпали «кухи», выпекали крендели, витиеватых форм «креббели». Забивали гусей, уток. Сытный колбасный

дух, с перцем и чесноком, витал над селом.

- На днях придут Анье и Карлуш, - сказала однажды за завтраком тетушка Амалия, Мальс-танте, обращаясь к сыновьям. - Научили бы мальчика какому-нибудь новогоднему стишку.

Я смекнул, что речь идет обо мне, а Анье и Карлуш – мои родители.

В тот же день мне вдолбили коротенький стишок, который я должен был прочесть в Новый год, вначале в доме бабушки Элизабет, потом у дяди Фридриха, потом у бабушки Олинды, у тетушки Гульды, Альмы, Маргариты и, Бог знает, у кого еще.

Стишок я вызубрил легко, и меня распирало от гордости, когда многочисленная деревенская родня дружно выражала восторг.

И вот в Новый год, едва позавтракав, Ганс и Фриц повели меня к бабушке. Я был в валенках, шубке, повязан шарфом; снег поскрипывал под ногами, изо рта валил пар. По дороге мои наставники потребовали раз десять повторить стишок, чтобы я его отбарабанил потом без сучка-задоринки.

В просторном доме бабушки уже все были на ногах. В сумеречной «майштубе»-гостиной толпились люди. Кто-то уже сипло пел. Дядя Фриц выписывал непослушными ногами замысловатые кренделя, выкрикивал «Хоп-са-са! Юхей, юхай, доннерветтер!» Длинный стол в

углу был накрыт яствами. Сама бабушка, сухопарая, расторопная, длинноносая, с изборожденным аскетическим лицом, в длинной до пят черной юбке и неизменном белом переднике, юрко металась между домом и летним «бакхаузом».

Тут я увидел и своих родителей. Отец был в гимнастерке, галифе, хромовых офицерских сапогах, с диковинными значками на груди, выделялся среди всех ростом и выправкой. Мама, черноглазая, легкая, по городской моде коротко остриженная, увидев меня, заулыбалась, и мне хотелось кинуться к ней, прижаться, только сейчас я почувствовал, как соскучился по отцу-матери, но братья-наставники мои, Ганс и Фриц, держали меня с двух сторон, заявив честной компании, что Гергольд (почему-то так произносили в селе мое непривычное, как бы чужеродное имя) желает прочесть стишок. Все вокруг восторженно всколыхнулись:

- Ах, ду, либер цайт!
- Гук моль доу! Смотрите-ка!
- Где он только научился?!
- Неужели ауф дайтш?!
- Ай-яй!.. Тафай, валяй!

Я вышел в круг, вскинул голову, выпятил грудь, как учил меня Фриц, и, ничуть не запинаясь, на пределе голосовых связок выпалил-выдохнул коротенький стишок.

Все пришли в неописуемый восторг. Отец схватил меня и расцеловал, подбросил к потолку; мама, присев на корточки, крепко обняла меня; дядья и тетки радостно заколготали все разом, а бабушка Лизбет, все с тем же суровым видом, поднесла мне в крохотной стопочке парного молочка. В этом заключалось высшее признание: своим многочисленным внукам бабушка не особенно благоволила, а баловства и во все не терпела.

Этот счастливый миг моего далекого детства запомнился навсегда.

А вскоре и вся наша жизнь пошла кувырком.

Мы переехали из Энгельса в кантонный центр Гнаденфлюр. Бабушка умерла. Потом обрушилась война. Автономную Республику немцев Поволжья ликвидировали. Нас выселили кого куда – в Казахстан, в Сибирь. Все мои дядья и многие двоюродные братья и сестры погибли в трудармии. Уцелевшие оказались развееванными по всей стране. Многих так и не довелось больше увидеть. Ну, а от родного, милого села Мангейма и следа на земле не осталось.

Вспоминая тот Новый – 1941-й – год, я десятилетиями мучительно и тщетно силился восстановить в памяти короткий стишок, который свергнул тогда мою родню в восторг и умиление.

В глубине сознания застряли лишь два слова – *kleiner König*, т.е. маленький король.

С мамой при ее жизни я не однажды заводил разговор о том случае. Она хорошо все помнила, перебирала в памяти разные новогодние пожелания-шпрюхе, имевшие хождение среди немцев-колонистов, но в них о маленьком короле не говорилось. И отец не помнил. Совместными усилиями мы вспоминали печальную балладу о королевских детях, которых насильно разлучили и гетевские «*Es war einmal ein König*» и «*Der König von Thule*», но нет... все не то, не то...

Слишком давно все это было. И ныне свидетелями того новогоднего утра в бабушкином доме осталось только двое – отец и я. И стишок тот канул в небытие.

...Пятьдесят шесть лет спустя, очутившись с инфарктом в больнице в реанимации, я ночами с какой-то воспаленной остротой оживил в памяти разные далекие эпизоды моей жизни, и вдруг совершенно неожиданно, молниеносно, как ожог, вспыхнула первая строка: «*Ich bin a kleiner König...*». Потрясенный, взволнованный, я вновь и вновь, чтобы только не забыть, не упустить, повторял и повторял эту строчку, пока не набрел и на вторую – «*gebt mir net zu wenig*». Дальше опять все застопорилось, и я, изможденный, уснул.

А на утро, едва раскрыв глаза – вот причудливое свойство человеческой памяти! – я без всякого усилия вспомнил и последние две строчки:

Laßt mich net zu lange stehn,
Ich muß noch a Häusche weiter gehn.

Господи, всего-то... Бесхитростный наивный стишок, родившийся в глубине веков где-то в Баварии, Швабии, Саксонии и завезенный в Руссланд, на Волгу...

Я почувствовал огромное облегчение, радость и одновременно опустошающую грусть, что поделиться тем ярким отблеском далекого зарева, крохотным осколком невозвратного прошлого в сущности уже не с кем.

Бедный, бедный «kleiner König»...

15 октября 1996 г.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА!

Я это сразу почувствовал: папа вернулся из районного центра явно озабоченным и встревоженным. Он был весь в куржаке, и морозная дымка окутала его с головы до ног. Он растегнул широкий офицерский ремень с медной пряжкой, с тускло отливающей звездой, стянул с себя серую, плотную шинель с шерстяной поддевкой, размотал пуховый «бокебай» – подарок счастливой роженицы, повесил на

гвоздь ушастую, островерхую буденовку, рассеянно приласкал несмышленную Эльму, обнял меня, мелкими глотками выпил горячего солодкового чая, молча и задумчиво подсел к раскаленной плите.

- У Яковчука был? - спросила мама.

- Ja, ja... был.

Я знал: Яковчук – главный врач в районе. И к нему папа заглядывал всякий раз, когда бывал в Марьевке, узнавал новости. Однако на этот раз о встрече с Яковчуком папа распространяться не стал.

- У Бронштейна был?

- Ja doch... Тебе привет передал.

Бронштейна я тоже знаю: лысый, плотный, говорливый аптекарь. Он однажды к нам приезжал. Его за какие-то грехи сопровождали двое в Петропавловск. Говорил иногда по-немецки, но не так, как мы. Я его не понимал. Но запомнил одну странную фразу в его устах: «*Ното homini lupus est*». Позже узнал: латинское изречение.

На этот раз и о Бронштейне папа ничего не сказал.

- У комендантъе был?

Тщедушный, кривоногий коротышка из аула Коктерек стал с некоторых пор главным начальником спецпереселенцев района. А такие имеются во всех аулах и деревнях – немцы, греки, азербайджанцы, поляки, иранцы и даже

русские и евреи. Мама называла коротышку «командантье» – «комендантиска». Для армии он не годился, винтовку не удержит, ему и милицейская фуражка и полевая сумка были в тягость. Но покуражиться над спецпереселенцами был мастак.

- Ну, как же, - отозвался папа. - Отметился. И за тебя расписался.

И опять никаких подробностей. В глазах папы печаль и забота. Сам не свой. Что-то грызет его. Сбежал в медпункт, потом вернулся, переделался и отправился к «Brill-Hansy» – «Очкастому Гансу» – так мама называла директора школы.

- Was ist passiert? - всполошилась мама. - Что-то случилось?

- Вечером на семейном совете расскажу.

Своими заботами папа всегда делился на семейном совете.

Семейный совет – это папа, мама, я и сестренка Эльма. Семейный совет – серьезный разговор. За столом обстоятельно говорит папа, чаще всего соглашается или возражает мама, что-то, случается, лопочу и я – как-никак осенью собираюсь пойти в школу сразу во второй класс. А вот Эльма молчит по причине малолетства и отсутствия собственного мнения.

- Меня вызвали в райком, - торжественно начал вечером папа и сделал значительную паузу.

Я знаю: райком – это очень важно. Это выше, чем аулсовет или председатель колхоза. Я видел это двухэтажное здание в центре Марьевки. Просто так туда никого не приглашают.

- Na, und? - нетерпеливо спросила мама.

Знаю: мама всегда надеется, что вот-вот папу пригласят в райком и скажут: возвращайтесь домой, на Волгу. Но я помню, как однажды папа сказал: «Аня, выкинь из головы эти мысли. Пока не окончится война, о возвращении и речи быть не может». А война никак не кончается.

- Секретарь дал мне партийное поручение...

- Папа захлопал белесыми ресницами.

- Какое?

- О, не знаю, что и сказать... Сбор помощи фронту.

- Какой еще сбор?

- Армия нуждается в помощи от населения.

Кто что может...

Мама не поняла. И я не понял. Что собирать-то? В аулах голимая нищета.

- А кто что может?

- В том-то и вопрос. Но секретарь сказал: все сгодится – варежки, носки, шкурки, шерсть, кисет, кольца, браслеты... деньги, если есть... хоть по десятке. Все для фронта! Видишь, войне конца не видно.

- И тебе, как партийному, поручили стать сборщиком?

- Ja. Da ist eben der Hund begraben! Здесь-то и зарыта собака! - Папа разволновался, шая пошла пятнами. - Каково мне, немцу-спецпереселенцу, собирать помощь в Фонд обороны?! Я ведь пришелец. Кто мне поверит? Но секретарь ни в какую. Партийное поручение. Будешь собирать и все сдавать в район. А народ поверит. Не для себя же собираешь. Надо все правильно разъяснять.

Наступила пауза. За окном завывал буряк. Гудела печная труба. Коптила лампа-семилинейка. Керосин, видно, был на исходе.

- Что ж... - выдохнула, вздохнув, мама. - Надо так надо.

- Я решил отдать половину месячной зарплаты. - робко вставил папа.

- А я свяжу шерстяные носки и варежки. Три пары. На большее пряжи не хватит.

- Хорошо... С миру по нитке... Завтра отправлюсь в Коктерек, потом в Жанажол, Жанаталап, потом в Алка-Агаш, Каратал. Уж кто на что горазд.

Мама кивнула. Папа просветлел лицом. Мне он сказал:

- Райком дал мне поручение, а я мобилизую тебя. Все для фронта! Понял?

- Понял... Aber...

- Was «aber»?

- Я могу дать только мешочек асыков.

- Что-о?! Солдаты там, на фронте, в асыки твои играть будут?! - Папа усмехнулся. - Завтра раздобуду тетрадку, будешь записывать все, кто что дал. Строго и аккуратно. А асыки свои оставь себе.

Заседание семейного совета закрылось.

Неделю папа ходил хмурый. Проводил в аулах медобслуживание и разъяснительную работу по сбору помощи от населения для Фонда обороны. К месту, не к месту папа повторял:

- Все для фронта! Будет праздник и на нашей улице!

Компания по сбору помощи продлилась всю зиму. И вскоре я исписал почти всю тетрадку в клетку. На серой обложке тетрадки были изображены самолеты, танки, пулеметы, а сверху стояли слова: «Враг будет разбит. Победа будет за нами!»

Чего только не накопилось в нашем доме за короткое время! Мотки пряжи, грубой вязки свитера, плотные, как кольчуга, варежки, носки, шапки-ушанки, малахаи, таики, бараньи шубы, старый волчий тулуп, вышитые кисеты, кожаные пояса с разными сумочками, войлочные чулки, шарфы, сыромятные шкурки, серебряные монеты двадцатых годов, женские украшения – изделия местных зергеров, табакерки из коровьих рогов, деревянные шкатулки, украшенные серебряными пластинами. И

все это папа рассортировал, упаковал в тюки, мешочки, аккуратно сложил и на санях аулсовета самолично доставил в район. Там он серую тетрадь, исписанную мною печатными буквами, заверил райкомовской печатью и двумя подписями: «сдал» – «принял».

Оттуда уже в весеннюю распутицу папа добрался домой радостный, довольный, обнял маму, меня, Эльму, потом долго настраивал скрипку, сыграл свои любимые вальсы, польки, фокстроты и марши и время от времени ликующе вскрикивал:

- Победа будет за нами!

И я, ученик второго класса аульной казахской школы, был уверен, что так оно и будет.

Боже, как давно это было! Прошло 66 лет – уму непостижимо.

МЕТЕЛЬ-КАНИТЕЛЬ

Метет невидимой метлой метелица четвертый день. Совсем взбесилась – бураном обернулась, смешала землю с небом, все вокруг закружила-запуржила в снежную круговерть. Аул затих, замер. Будто в землю врос. Снегом занесло дома, сараюшки, пристройки, шошалы, сплетенные из тальника. В комнате – сутемень, на улице – мрак. Буран ярится баксы-шаманом,

воет, стонет, ухает, разбойничьи свищет, скулит на все лады, навевает причудливые сугробы.

В медпункт не проберешься. В школе прекращены занятия. Не слышны ни людские голоса, ни рев коров, ни лай собак. Снег, снег, снег. Шквальный ветер. У-у-у... Ыш-ш-ш... Тр-ррах-х!

Мама возится у печки, растапливает снег – ведь до колодца возле мазанки Бекима не добраться, гремит чугуном и ухватом, ругает буран, сырые поленья, нескончаемые бытовые неурядицы.

Папа при свете чадающей семилинейки приводит в порядок свои медицинские отчеты. Я разучиваю на мандолине и балалайке казахские песни и немецкие вальсы.

- Ach, Gott, - вздыхает по привычке мама.

- Zum Teufel alles! - ворчит-бормочет папа.

Время от времени он выходит во двор, отчаянно борется со снегом, прокладывает проход-траншею к хлеву, выбирается на крышу дома, всматривается в мглистую муть. Возвращается озабоченный, хмурый.

- Ничего не видно, - сообщает он нам. - Ветер валит с ног. Кое-как, наощупь добрался до соседа. Ни окон, ни дверей. А там, где труба, зияет щель. Чуть струится дымок.

- Ach, Gott! Lieber Heiland...

- Sakrament! Такого на Волге не бывало.

- Марта как?

- Что Марта? В тепле. Сено жует. Чисто. Сухо.

Я в закутке возле печки продолжаю тренькать на мандолине вальс «На стопках Манчжурии». Что-то вроде получается. Мурка жмурится у моих ног, свернувшись в клубочек, тихо мурлычет. Видно, вой бурана, тепло от печки и моя игра навевают блаженную дрему.

Папа щелкает на деревянных счетах, записывает что-то в амбарной книге, макая перо в непроливайку. В доме тепло, но сыро, волгло. Тяжелый снег плотно облепил-обложил наш дом вместе с медпунктом. По звуку я определил, что и мандолина, и балалайка отсырели.

- Ну, хватит! - говорит вдруг папа. - Одевайся. Посмотрим, что натворил буран.

А что он натворил? Засыпал весь аул снегом, намел сугробы выше домов и, довольный, свистит-завывает-куролесит под свинцовыми, кудлатыми тучами, до которых, казалось, рукой достать. Интересно, где находится солнце? Может, буран, как сказочный дракон-айдахар, и его за эти дни проглотил?

По узкой траншее, прорытой папой к хлеву, мы навещаем Марту. Она стоит себе на деревянном настиле, пахучим сеном хрумтит, слюни пускает, отдувается, оловянными, навывкате глазами добродушно смотрит на нас. Уже ме-

сяц ее не доят. А через две-три недели должна Марта отелиться.

- Скоро отведаем молозива, - говорит папа.

Он гладит Марту по крутым бокам, клочком сена обтирает ее влажную морду, хлопает по лоснящейся шее. Марта благодарно крутит головой. Папа обновляет трухлявыми объедками подстилку, через верхний лаз надергивает крючковатым шестом свежего, плотно слежавшегося сена.

Из теплого хлева выбираемся по выемкам-уступам в сугробах на крышу. Ветер с яростью набрасывается на нас. Мне боязно. Папа широко расставил ноги, напряжился, и я надежно прильнул к нему.

Померещилось: мы зависли между небом и землей. Сейчас, сейчас сорвет нас в пучину. Я держусь еще и за печную трубу, чуть торчащую из-под снега. Снег лезет в глаза, в рот, в нос. Ветер сбивает дыхание.

- Что-нибудь разглядел? - спрашивает папа.

- Вон дом Абильмажина. Из-под сугроба вьется дымок. Вон дом Кульшары. А там Альмиша дом.

- Молодец! Ориентируешься. А колодец не видишь?

- Нет. Сплошной сугроб. Пар вроде валит.

- Молодец!

Мы гребем снег у входа. Вслушиваемся в вой бурана.

- Вот метель, а? Wirbelsturm! Метельканитель. Тебе не кажется, что буран слабеет?

- Кажется. Немножко.

- Каково людям в маленьких аулах? - печалится папа. - Четверо суток не выходят из дома. А хворых-то сколько?! Весь мой график коту под хвост.

Что больных много – я знаю. Простуда, пневмония, радикулит, туберкулез, чесотка, кое-где сыпной тиф. А буран и моего папу-фельдшера связал по рукам и ногам.

На следующее утро я проснулся рано от оглушительной тишины. В доме пахло золой, мерзлыми березовыми поленьями.

- Буран кончился, - радостно сообщила мама.

В самом деле, выдохся. Весь вышел. Папа уже откопал одно окно, проложил дорожку к медпункту, напоил Марту талой водицей.

- Одевайся. Сегодня еще в школу не пойдешь.

Я выбрался наружу. В ушах звон. Колкий морозец. Тишь. В хлеве надрывался петух, весело кудахтали куры.

Папа запарился. Гребет снег. Сбросил даже фуфайку.

Подъехал одвуконь пожилой казах в лисьем треухе, овчинной шубе, подпоясанной кушаком, в огромных сапогах, из голенищ высовываются старые войлочные чулки.

- Першыл! - зовет хриплым голосом. - Эй, першыл! Аман?

- Аман, Аман, - отзывается папа. - Кто вы?

- Аманжол из Жана-жола.

- Что случилось?

- Ойбай, баба кырчит. Баранчук таскайт не может.

- Давно?

- Два дня.

- Ясно. Вторая лошадь для меня?

- Ия, ия. Для тебя, першыл, для тебя. Айда скорей!

- Сейчас.

Папа забежал домой. И вскоре вышел. В шинели. В буденовке. С аптечкой. В офицерских сапогах, оставшихся от службы в Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

- Поехали!

Двое всадников, глубоко увязая в снегу, пробиваются в сторону тугая. До Жана-жола недалеко, сразу же через Есиль. Я гляжу им вслед. Небо все еще висит низко над землей. Змеится легкая поземка, оглаживает бока сутробов. Всадники удаляются, все заметнее растворяясь в сизой мгле. Аманжол сидит в седле крепко, как влитой. Не шелохнется. Папа весь подался вперед, привстал на стремях. Островерхий шлем словно врезается во мглу.

Я знаю, что такое «баба баранчук таскайт». Значит, жена или сноха Аманжола уже двое су-

ток не может разродиться. И папа, фельдшер-акушер, едет-спешит принимать роды. Ему это не впервой...

Эх, метель, метель... Метель-канитель...

«ОТНЫНЕ ВОТ ТВОЁ ЗАНЯТИЕ»

На двенадцатом году жизни я обезножил. До того в ауле слыл «жел-аяк» – ветроногим. Не всякий аульный пёс мог угнаться за мною. А тут обрушилась беда. Боль в правом тазовом бедре становилась невыносимой. Однажды после занятий не мог подняться из-за парты, и отец унёс меня из школы на руках. Более десяти минут в одном положении я лежать не мог. Я без конца менял позу, то опускал, то приподнимал воспалённую ногу, но боль отпускала лишь на мгновения. Я измучился. Невидимый зверь день и ночь с маниакальной настойчивостью грыз мой сустав, доводя меня до отчаяния. Вместе со мной исстрадалась мать. Скорбными глазами подолгу глядел на меня отец, бессильный чем-либо мне помочь. Он листал свои медицинские справочники, прихваченные при депортации с Поволжья, и всё больше склонялся к мудреному диагнозу – полиомиелит. Как с такой хворью сражаться, он, военный лекарь, не знал. Районный врач долго шупал своими

холодными костлявыми пальцами мой побавровевший от воспаления сустав, недоумевал и на всякий случай заковал меня в гипс по самую грудь. Теперь я даже лишился возможности самостоятельно переворачиваться набок. Лежал на спине, изучая каждую трещинку на низком потолке нашей убогой комнатушки при медпункте и тихо, протяжно поскуливал, утишая, умоляя, уговаривая, убаюкивая адскую боль в тазу. Зверь, угнездившийся в суставе, точил-сверлил-буравил меня, не давая передышки ни себе, ни мне.

Не было никаких сил приноровиться к изнуряющей боли.

О школе я забыл. Детские шалости, игры-забавы, беготня по аулу и окрестностям остались в прошлом. Ничего, кроме боли, уже не существовало.

Слякотная осень вскоре сменилась бесконечной стылой зимой. Я лежал пластом на жёстком топчане у низкого, закопчённого окна, кусал от боли губы, тихо, чтобы не слышала мама, плакал, нудными зимними ночами прислушивался к вою бурана, к шороху снежной круговерти, к лаю аульных шавок, в ясную погоду любовался стылой луной, то и дело нырявшей в свинцовые, кудлатые тучи.

Все надежды и мечты враз меня покинули. Я чувствовал, как таинственный зверь настойчи-

во вгрызался в головку тазобедренного сустава, который опухал, горел не по дням, как боль пыталась вырваться наружу, но ей это никак не удавалось.

И однажды, месяца через два-три, что-то случилось, кожа под гипсом будто повлажнела, отсырела, боль ослабла, приглушилась, и я мог – о, блаженство! – спать часами. А вскоре из-под гипса явно потянулся дурной, гнилой душок. Отец принялся, разрезал гипс, и тут в двух-трёх местах обнаружили свищи, из которых сочился изжелта-бурый гной. Заезжий областной врач решительно поставил диагноз: туберкулёз костей. И я услышал, как он тихо сказал отцу: «Процесс в лучшем случае можно только остановить. О полном же излечении речи нет».

Я смутно догадался: выходит, обречён отныне жить с болями, с частыми обострениями, а если и буду ходить, то только на костылях.

Осознать это в двенадцатилетнем возрасте – ужасно. Почти что как выслушать смертный приговор. Я совершенно не представлял, как жить дальше. Будущее было не только в тумане, порой чудилось, что его вообще нет.

Было жаль себя. А ещё больше – родителей, которые маялись с сыном-калекой.

Беспомощный, жутко исхудавший, вконец обессиленный, я лежал на топчане, листал ста-

рые, замусоленные учебники, умножал четырёхзначные цифры на пятизначные, пытался рисовать, подолгу разбирал шахматные партии из растрёпанного учебника Ласкера, иногда отец выносил меня на свежий воздух, укладывал на пахучее сено, укрывал тулупом, и у меня от слабости кружилась голова, дрожали руки-ноги, озноб колотил изнутри, мама трижды на дню подносила мне парное молоко в синей эмалированной кружке, я его медленно выцеживал, на время, вроде как, малость ободрялся, но тут обнаруживалась новая напасть: каждый раз из носа шла кровь.

Слабость изнуряла, угнетала, унижала, убивала меня ежедневно, ежечасно, и я грезил-мечтал о летнем тепле, о щедром солнце, когда могу вольготно расположиться в шалашике под акацией в уголке огорода. Но зима и весна длились нескончаемо. А мне ещё предстоял экзамен за четвёртый класс.

Всё чаще чудилось, что меня запихнули в мешок, в котором я вот-вот задохнусь.

Однажды отец приехал из районного центра Марьевки, достал из сумки свёрток, медленно, явно возбуждая моё любопытство, развернул его и протянул мне изрядно потрёпанный томик. Я прочитал на обложке: А. С. Пушкин. Сказки. Дрожащими руками я принял этот дар,

неизвестно у кого и как раздобытый отцом, полистал книжицу и наткнулся на строчку: «Святая баба Бабариха». Что-то вспыхнуло во мне, чем-то поразила, захватила, обострила внимание бббаббба Ббба-ббба-ри-ха. Должно быть, отец заметил мою заинтересованность. И он очень серьёзно сказал:

- Отныне книга и станет твоим главным занятием.

Я остро понял-почувствовал: да, да, да, отныне книга, только книга, одна книга – та одна-единственная соломинка, которая удержит меня на плаву жизни. Книга увлечёт и отвлечёт меня от моей тягостной немощи и кислой доли. Этой истиной вмиг озарилась душа в моем хилом тельце, и я с того дня воспрял духом. Позже, став взрослым, я неустанно повторял: человеком меня сделали родители, аул и книга. Вот три источника и три составные части моего духовного бытия.

ЗАРЯДКА

Отец – человек спортивный. За семь лет службы в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии закалился основательно. Никакой вид спорта ему не чужд. Отмахать пешком десять-

пятнадцать километров за день, перетаскивать трёхпудовые мешки, сходу перепрыгнуть ручей-канаву, косить и скирдовать сено, вскопать огород, натаскать из колодца пару бочек воды для полива, вплавь перебраться через Ишим ему, как мне казалось, ничего не стоило. Всё у него ловко получалось. А я рос болезненным, хилым, и отца это, я чувствовал, угнетало. Он не жаловал слабости в человеке. Примерно с пяти лет он приучил меня с утра, после сна, бегать вокруг дома. и не просто, по-щенячьи, как попало, а по-спортивному, с лёгким наклоном, с развёрнутыми плечами, с прижатыми к туловищу локтями, с ритмичным вздохом-выдохом, прыгать через ров, с разгона и с места, скакать попеременно на одной ноге, подтягиваться на турнике, лазать по канату, обливаться водой, ничего не бояться, попусту не хныкать. А тут беда: единственный сын обезножил, подхватил тbc костей, с трудом передвигался на костылях, дохлый, чахлый, как трава на солончаке возле старицы. Мама укутывала меня, жалела, оберегала от всех напастей, а отец заставлял меня подниматься резво в шесть утра, а спал я в стылой комнатушке-пристройке, потом мне предстояло плескаться у ракушечника, где вода покрывалась за ночь ледяной коркой, делать, преодолевая боль и слабость, посильную за-

рядку, а главное – полчаса до занятий в школе пилить вместе с отцом дрова.

«Ну, не трогай ты его, - заступалась за меня мама. - Видишь: еле-еле душа в теле. Er ist ja ganz krank».

«Ничего! Надо закаляться», - убеждённо возражал отец.

«Какая жестокость! - жалел я сам себя. - И это называется отцовская любовь...»

В сарайчике-дровянике, освещённом в ранней сутемени тусклым фонарём, стоял крепко сколоченный, приземистый «козёл» с рогами-зубьями. На него отец аккуратно укладывал берёзовые и осиновые брёвна-стволы, и мы их распиливали на ровные, совершенно одинаковой длины чурки.

Левой рукой я опирался о бревно, прислонив костыли к стенке, правой из всех силёнок тянул зубастую, визгливую пилу, тяжесть тела переносил на здоровую ногу, служившую опорой, а правая, больная, в перевязке, уже укоротившаяся, болталась на весу.

Мне бывало неудобно, больно, сердце трепетало, трепыхалось, кровь прилиwała к голове, лицо покрывалось испариной, дыхание прерывалось, неумело разведённая пила с натягом вгрызалась в тугую, сучковатую плоть дерева, её то и дело заклинивало, руки дрожали, ныло

в груди, а жилистый напарник-наставник мой неустанно поучал-подгонял-подстёгивал меня:

- Не толкай пилу, а на себя тяни, ровно, мягко. Не напрягайся. Шире плечо! Дыши ровно! Не горбись! Вот так! Сильно не наклоняйся! Ровно держи ручку! Видишь, пила вкривь пошла. Ну, вот, так лучше. Хорошо! Так держать! Давай, давай!..

Бороздка становилась всё уже. Пилу без конца заклинивало, приходилось её вытаскивать и вновь пускать по прежней бороздке. Желтоватые опилки веером брызгали во все стороны. В глазах рябило, в висках стучало, из-под шапки струился парок. Иногда казалось, вот-вот вырвется ручка, пила, взвизгнув, завивая, выскочит из бороздки, заденет, поранит руку, а я рухну на не разделанные кряжи-чурки.

А отец продолжал поучать:

- Не рви пилу! Ровней! Спокойней! Ты только крепче держи ручку. Пила сама пойдёт. Ну, ну, ещё немножко. Так, так! Ну, ещё одно бревнышко. И на сегодня хватит. Genug!

Я косился на косяк, на сучке которого болтались на цепочке увесистые отцовские карманные часы. Стрелки, казалось, стояли на одном месте. И мне чудилось, что мы пилим эти проклятушие дрова уже вечность. Мочи нет. Язык вот-вот вывалится изо рта, как у нашего Шарика. Уши заложило.

- Всё! - как сквозь вату доносится голос отца.

- Хватит! Отряхнись, позавтракай и в школу. Немного кровь разогнал.

Унимая противную дрожь в теле, наваливаясь на костыли, которые норовят выскочить из-под мышки, я с трудом одолеваю ступеньки крыльца, вбираюсь на кухню, где пахнет берёзовым дымом, ячменным кофе, уваристой картошкой, уминаю булочку с маслом, запиваю парным молоком и, закинув за плечи холщовую сумку с книжками и тетрадками, постукивая костылями, плетусь-тащусь в школу.

Отец колуном разделяет кряжи, и поленья летят во все стороны. Знаю: сейчас он уберёт дрова, уложит поленья аккуратно на просушку, поставит на место «козёл», подметёт тщательно опилки, щепки, потом тоже позавтракает и отправится в медпункт.

Такая вот ежедневная зарядка.

Такова отцовская метода закаливания тела и воспитания характера.

С годами я понял: метода была правильная. Иначе я бы давно сковырнулся, очокурился.

ВЫБОРЫ

О предстоящих выборах в ауле поговаривали везде и всюду месяца три. Шутки ли: первые послевоенные выборы в Верховный Совет Казахской ССР! Даже в дремучем захолустье все

были подняты на ноги. В колхозной конторе освободили самую большую комнату, соорудили две кабины для тайного голосования, сколотили ящик-урну, обшив её красным ситцем, в углу поставили стол со старыми подшивками газет, с журналами, блокнотами агитатора и истрёпанным томом Джамбула, натащили несколько колченогих стульев и расшатанных табуреток, стены обклеили плакатами с портретами и биографиями кандидатов в депутаты, аляповатыми графиками прошлогодних трудовых показателей.

И вот настал тот день. Все жители аула заблаговременно оповещены. Голосование начинается ровно в шесть утра, а в семь пара, запряжённая в сани, должна домчать до райцентра протокол и опечатанные бюллетени голосования.

Конечно, предусмотрена и культурная программа. Ею заведует мой общественно активный отец. Уже в четыре утра отец со своей скрипкой, я — с аккордеоном должны быть в конторе и начинать веселить-развлекать медленно собирающихся, заспанных и продрогших аульчан. А через час энтузиаст-мугалим Калау приведёт группу измождённых и вечно голодных интернатовцев, которые хриплыми спросонья, простуженными голосами споют натошак несколько патриотических песен. Ну,

а вся выборная кампания закончится уже примерно в восемь-девять утра.

Таков план, разработанный аульным избиркомом, аулсоветом и первичной партийной организацией.

- Подъём! - растормошил меня отец, и я стал поспешно одеваться.

За окном стынь и мрак. По-разбойничьи свищет-воет ветер. На столике возле печки коптит-мигает лампа-семилинейка. Отец уже оделся, уложил в футляр скрипку, в карман сунул канифоль, завернул в старое покрывало аккордеон. Ходики над дверью показали без двадцати минут четыре.

Мне зябко. Я не выспался. Больная нога привычно ноет. В животе урчит. Тащиться тёмной ночью по пустынному, сплошь в сугробах, аулу да ещё на костылях – никакое не удовольствие. Но надо, надо. Ordnung muß sein. О порядке, дисциплине в работе и поведении отец твердит-внушает по десять раз на дню.

Выходим. Морозный воздух перехватывает дыхание. Окунаемся в стылую, глухую мглу. Снег поскрипывает, повизгивает под ногами. Костыли разъезжаются в стороны. Лишь бы не споткнуться, не упасть. А ветер так и норовит столкнуть тебя в сугроб.

Отец, держа под мышкой футляр со скрипкой, за плечом – аккордеон в узле, правой рукой

освещает карманным фонариком-жужжалкой запорошенную, едва различимую тропинку.

Аул как вымер. Ни одной живой души. Ну, вот и добрались до конторы. Из промёрзших окон едва брезжит свет. У крыльца кто-то в заскоружлой шубе и треухе-малахае разгребаёт снег. Рядом зябнет лошадка в сизом куржаке. Уборщица тётя Ира в немыслимом тряпье, в огромных подшитых валенках пытается разжечь печь. Пахнет мёрзлыми поленьями, сырой берестой, керосином, пылью, нежитью.

В конторе тихо, убого, холодно. Даже две керосиновые лампы-десятилинейки не в состоянии развеять предутреннюю сутемень. Возле обшарпанной печи дремлет, свесив сивую бороду-лопату на грудь, древний Жайлаубай. Три года назад, помнится, он говаривал, что ему пошёл седьмой год седьмого десятка. Ныне он бубнит, что одолел девять перевалов жизни. Через год наверняка заговорит о столетнем рубеже. Как старейшине аула ему поручено голосовать первым. И чтобы не проспять эту высокую миссию, Жайлаубай-ата притащился в контору ещё в полночь. В тулупе, непомерных сапогах с войлочными чулками, в лисьем, облысевшем тымаке, в кожаных рукавицах он сидел неподвижно, лишь изредка бухал в бороду:

- Сколько ещё осталось?

- Два часа, ата, - отозвался шустрый секретарь аулсовета, видно, главный распорядитель сегодняшнего мероприятия. - Потерпите. Вздремните чуток.

Дед Жайлаубай что-то промышчал, крепче охватил суковатый посох, упёрся подбородком на руки.

Рядом с ним прикорнула озябшим воробышком крохотная Арайлым, ученица десятого класса. Ей исполнилось восемнадцать, голосует впервые, и её обязали голосовать второй, сразу же после старейшины аула. Сказали: так надо, в газетах пропечатают. Потом голосуют коммунисты – мой отец, директор и завуч школы, председатель колхоза, заведующая фермой, бригадир, доярка Шаку, бухгалтер Беким, за ними – рядовые колхозники и все остальные аулчане, имеющие право голоса.

В закутке, возле крыльца, был организован буфет. Отец принёс мне оттуда затвердевший, как камень, пряник, горсть слипшихся карамелек и стакан морса. Все эти сласти были для аульчан в диковинку.

- Ну, разогреемся малость, - сказал отец, когда я допил чуть сладковатый розовый морс.

Он достал из футляра скрипку, настроил её, помял пальцы, наканифолил смычок. Я развернул аккордеон, уселся поудобней, прислонив к стенке костыли, привычно взял несколько аккордов, нащупал соответствующей тональ-

ности басы, переключил регистр и заиграл «На сопках Маньчжурии».

Дед Жайлаубай очнулся, почему-то стукнул невпопад посохом. Встрепенулась, зашевелилась и вконец продрогшая миниатюрная Арайлым.

- Уай де! - прокричал дурашливый сморчок-завхоз.

- Давай, давай «Камажай»! - подзадоривал шустрый секретарь аулсовета.

Наконец, подключился и отец. Встал во весь рост, выставил левую ногу, взмахнул смычком, заиграл шаловливую польку, потом – марш, потом – подряд несколько вальсов, потом – по-пурри из немецких народных песен.

Сразу стало веселее. И народ подтянулся, толпился на крыльце, в коридоре, в проходе, в буфете-закутке. Вмиг потеплело. От печки валлил пар.

- Эй, бала, скоро? - спросил дед Жайлаубай в пространство.

- Сейчас, ата. Что нужно говорить, не забыли?

- А-а-а... - пробубнил дед Жайлаубай. - Что куда в уста вложит, то и скажу.

- Э, нет, ата! Мало ли что вам в голову взбредёт. Сказать надо то, что нужно! А ты, Арайым, слов своих не забыла?

- Наизусть выучила, - встрепенулась прилежная ученица.

Вскоре нас с отцом сменил хор интернатовцев. Спели о партии, о родине, о счастье. Дружно прогорланили:

Партия қайда болса,

Партия қайда болса,

Женіс сонда,

женіс сонда,

женіс сооон-да-а-а!..

Я аккомпанировал, что есть мочи.

- Громче, громче! - настаивал мугалим Калау.

- Ти-хо-о! - вдруг заорал шустряк-секретарь.

- Начинаются выборы в Верховный Совет советской социалистической республики Казахстан. Первым пришёл голосовать девяностолетний колхозник, кузнец-стахановец Жайлаубай Баймурзин.

Дед Жайлаубай скинул тулуп, сбросил молью изъеденный тымак, кожаные варежки, стукнул разок-другой посохом и пробубнил в окладистую бороду.

- Жолдастар! Товарищи! Я прожил сто лет, многое в жизни повидал, но никогда не был... Ия, ия, не был... э-э... таким счастливым, как сегодня. Я... я... это... выполняю свой этот... как его... гражданский долг, голосую за нашу мудрую партию, за правительство, за этот... этот... как его... ну...

- Блок, - подсказал шустрый секретарь аулсовета.

- Нет, нет, - заупрямился дед Жайлаубай. - Блок потом. Голосую... голосую... э-э... кхм-кхм... вспомнил... за сентыральный комитет... да, да... и... и... и... за блок коммунистов и беспартийных.

- Уай, маладес, старина!

- Шпарит, как по писаному! - раздались восторженные голоса.

Дед, довольный, облачился снова в тулуп, нахлобучил на голову обтрёпанный тымак, пятернёй поскрёб-расчесал дремучую бороду.

- В первый раз пришла голосовать комсомолка-ударница, ученица десятого класса Арайлым Ишанкабулова, - объявил шустрый секретарь аулсовета.

Арайлым встрепенулась, вспорхнула перепуганным воробышком, скинула кроликовую шапку, поправила толстую косу, взяла бюллетень, встала возле урны.

- Я испытываю огромное волнение и счастье, впервые голосую за блок коммунистов и беспартийных, за дальнейшее процветание нашей родины под руководством славного центрального комитета нашей победоносной партии, - на одном дыхании срывающимся голосом выпалила разволновавшаяся ударница-комсомолка.

- Барекельде!

- Жаса, айналайын!

И Арайлым, вся зардевшись, опустила бюллетень в урну.

Голосование прошло дружно. Возле ящичка, обитого красной материей, столпился нетерпеливый люд. Отец почему-то заиграл торжественный туш, я из последних сил рвал меха аккордеона.

В кабины, занавешенные одеялом, никто и не заглянул. Какие ещё могут быть тайны в ауле? Зачем портить казённую бумагу?

Прошло полчаса, а человек двадцать аульчан всё ещё не проголосовали. Кто-то проспал, кто-то всю зиму не выходил из дому, кто-то спозаранок завозился в хлеву, кто-то ещё не сотворил утренний намаз.

- Э, ладно... Народ-то наш. Знаем! - сказал шустряк-секретарь и запихнул стопку бюллетеней в урну. - Всё! Болды!

Трое из счётной комиссии, прихватив урну, удалились в соседнюю комнатку.

Мы с отцом сыграли напоследок «Камажай» и «Прощание славянки».

Вскоре вновь показался шустряк-секретарь и громко объявил:

- Поздравляю! Выборы состоялись. Сто процентов!

Отец ударил смычком по струнам, я прошёлся по басам. Туш получился на славу.

Народ стал расходиться. Отец уложил скрипку в футляр, упаковал в покрывало аккордеон, и мы с чувством исполненного долга побрели домой.

Близился рассвет. Сумеречные тени таяли, медленно уползали в степь. Из печных труб низко стлался-волочился дым. Снег под ногами резко взвизгивал, отзывался эхом в прибрежном тугае. Где-то неохотно тявкали-брехали аульные пустолайки.

Мы с отцом молчали. Занимался новый день. А у каждого дня, как известно, свои заботы.

ОТЕЦ КОПНИЛ СЕНО

Июль на исходе. Благодать. Солнце подолгу стоит в зените. Всё живое млеет-наслаждается в его щедрых, ласковых лучах. Задумчиво, с ленцой порхают бабочки. Зевают от блаженства аульные пустолайки в тени. С верховья тянет настоящий на разнотравье ветерок.

Но настоящая благодать у реки. Ишим-Есиль течёт лениво, размеренно, яркими бликами слепя глаза. Густой тугай точно купается, нежится в разогретых потоках воздуха, истекает спелым, пьянящим духом черёмухи, боярки, шиповника, смородины, костяники, хмелявьюна. Густо жужжат сытые шмели. В душных

зарослях роются осы, что-то вынюхивают, высматривают. В полой листве шуршат-шмыгают мыши. Дышит, набухает огромный муравейник под сушняком-тальником.

На открытой поляне между тугаем и рекой отец накануне накосил литовкой сена, сгрёб граблями в валки, оно подсохло, пожухло за эти дни, и теперь пришла пора укладывать его в копенки. По подсчётам отца нашей кормилице Марте понадобится на долгую зиму девять копен душистого, приречного сена, которые отец потом сложит в аккуратную скирду, укрепит жердями-слегами-баструками, чтобы сено не разметалось, отстоялось, отлежалось, обветрилось перед тем, как в канун снегопада перевести на колхозной бричке домой на сеновал. Любо-дорого смотреть, как отец работает. Всё у него получается споро, ловко, без натуги. Видно, он сам получает удовольствие от своей работы. Недаром повторяет часто: «Arbeit macht das Leben süß» – работа услаждает жизнь. Литовка тоненько, звонко поёт под его сильными руками – дзинь-дзинь. Замах у отца широкий, размеренный. Высокая, сочная трава, срезанная у самого корня, покорно ложится ряд за рядом, источая сладко-дурманящий дух. Отец аккуратно обходит каждую кочку, стараясь не задеть невзначай муравейник или птичье гнездо. Через каждые пятнадцать-двадцать взмахов

он делает остановку, достаёт из кармана шаровар брусочек и уверенно точит-подтачивает косу с обеих сторон и снова приступает к косьбе – вжик-вжик-вжик. Заглядишься!

Так он косит часа три, любуясь, восхищаясь и солнцем, и шаловливым ветерком, и терпким запахом увядающей травы, и тишиной, безлюдьем вокруг, и неустальной силой своего молодого, натренированного, закалённого с детства мужского тела.

Потом, через день-другой, – сенокос, переворачивание, переворощение валков. И опять отец всё это проделывает уверенно, мастеровито, будто всю жизнь только сенокосом и занимался. Дело переделать – это одно, важно, чтобы оно было сделано красиво.

А сегодня пришла пора копнить сено. Копенки у отца получаются ровные, крутобокие, на одинаковом расстоянии, одинакового объёма и высоты. Стоят полукругом, кругленькие, пригожие, будто девушки в хороводе. А отец ходит вокруг, любовно оглаживает, выравнивает граблями бока, словно причесывает вилами невнопад торчащие клоки, укладывает плотнее, ворох к вороху, всё острее закручивая верх и втыкая в завершение длинный кол, чтобы воздух пронизал копну до основания.

Надо уметь копнить сено. А укладывать его в скирду – тут нужно особенное мастерство.

Но это будет потом, чуть позднее, может, через две-три недели.

А пока лишь июль на исходе, и природа пребывает в истоме, в неге, и отец копнит сено, а мне, пацану, поручено сидеть под обрывом, у самой кромки, между двумя раскидистыми тальниками, таскать по мере клёва мальков удочкой, кидать их, осторожно сняв с крючка, в ведро с водой, зарытое наполовину в песок, и зорко следить за жерлицами и время от времени менять живца, ибо на снулого чебака не всякая щука или окунь позарится. Им нужно, чтобы чебачок играл, манил, дразнил, резвился, метался туда-сюда, иначе какой смак в охоте. Всякий хищник предпочитает, чтобы жертва убегала от него, ярила, распаляла.

Полдень. Жарко. Душно даже у реки. По обоим берегам ни одной живой души. Я один-одинёшенек. Клёв прекратился. Жерлицы застыли в безмолвии. Может, и рыбки сомлели от жары? Искупаться бы, окунуться бы разок в прохладу прибрежной глубины. Но отец строго предупредил: нельзя. А если жерлица вдруг размотается – крикни. Не то какая-нибудь шальная щука запросто тебя уволочёт-утащит. За этой зубастой тварью не утонишься.

Таков уговор. А наказ отца – закон.

А вообще-то скучно сидеть у реки в одиночестве. Что там происходит по-над обрывом, я

не знаю. Слух едва улавливает шорохи. Издали доносится голос отца:

- Эге-ге-гей!..

- Ja, ja! Ich bin da! - отзываюсь. И снова тихо-тихо. Поплавок едва качается-дрожит, незаметно пробиваясь к берегу, на тёмной под кустом воде. На поплавок присела-припорхнула стрекоза, трепещет крылышками-хвостиком, лупоглазо смотрится в зеркальную гладь, любит себя собой. Накатывается дрёма. Всё вокруг начинает зыбиться. Над моей головой назойливо кружится-кружится бархатный шмель, угрожающе жужжит-зудит:

- Не сс-пи-ии! Не сссс-спи-и-и!

С обрыва, видно, не рассчитав силы, сиганула зелёная кобылка, с треском шлёпнулась на край брезентового плаща подо мной, ошарашено воззрилась на меня и пружинисто рванула прочь.

Вдруг разом, стремительно – шшшыыррр! – размоталась леска жерлицы, и тотчас у берега вода забурунилась, удилище, воткнутое накрепко в супесь и укреплённое у кромки подставкой-развилкой, напряглось, задрожало. Сердце у меня запрыгало-заколотилось, уши заложило, дрожь ударила в поясницу. «Вот она! Вот она!! Вот она!!!» - лихорадочно застучало в голове. Хотел было крикнуть отцу, но от волнения-страха пропал голос.

Под водой кто-то отчаянно рвался на волю, бился могучим хвостом, круто виражировал то влево, то вправо, струной натягивал леску, тут же, на мгновение отступив, заметался со страшной силой. Казалось, это невидимое чудище вот-вот вырвет удилище из суглинки, или оборвет леску и умчится восвояси. Я, забыв обо всём на свете, охваченный страхом и азартом, предвкушением удачи, через силу вытащил конец удилища и, упираясь обеими ногами, начал тянуть леску на себя. У самого берега мелькнуло упругое туловище бурой, склизкой щуки, показавшейся мне непомерно огромной, и тут только, с ужасом почувствовав, что меня эта зубастая, длинноголовая тварь непременно утянет в воду, я закричал-заорал дурниной что есть мочи:

- Па-ааа-па-ааа!..

Леска напряглась, дрожала, удилище рвалось из рук, но я вцепился в него насмерть и вопил без передышки.

С обрыва посыпались камешки, глина, песок, и я услышал, как вприпрыжку, опрометью бросился ко мне на помощь отец. И – вовремя! Через миг я бы удилище не удержал или сам шлёпнулся бы с головой в омут.

Отец, всем корпусом откидываясь назад, понемногу натягивал леску, и у взбесившейся щуки пространства для манёвра оставалось всё

меньше и меньше. Я замер, обессилено опустился на песок, ошарашенно наблюдая за безмолвным побоищем.

Отец не торопился. Временами чуть отпускал леску, потом настойчиво натягивал на себя, наматывая на локоть. Щука, видно, устала, задыхалась. У самой кромки воды мелькнула её зубастая пасть. Но, должно быть, живца она заглотила от жадности глубоко, и железный крючок вцепился в её нутро насмерть, и леска оказалась крепкой, и удилище – гибким.

Наконец, отец вытащил щуку на узкую полосу берега, и тут она умудрилась-таки перегрызть толстую капроновую леску, высвободиться и, заколотив мощным хвостом, напружинив плавники, заскользила к воде. Но не тут-то было! Отец сел на неё верхом, запустил обе руки под жабры, зажал шенкелями, точно строптивного неука, и понемногу, пядь за пядью оттащил от кромки воды.

- Камень! Камень! - закричал отец.

Мне попался под руки увесистый окатыш. Отец изловчился, схватил его правой рукой и раза два с силой тюкнул им по длинному, скользкому черепу. Щука сразу усмирилась, обмякла.

- Вот это да! - восхитился отец, всё ещё не слезая с щуки и оценивающе оглядывая её. - Зверь – не щука!

Она, действительно, была внушительна: длинная, тёмно-бурая, с зеленцой, пятнистая, с крепкими, тугими плавниками. Отец нанизал её на кукан, подержал на весу.

- Больше метра! Килограммов десять! Твоя удача!

Я чувствовал себя именинником.

Вскоре на жерлицы попались ещё два туготелых, грозно ошетинившихся окуня, и мы с отцом, довольные уловом, засобирались домой.

...До аула было километра три. Отец шёл впереди, держа щуку на кукане за спиной. Я трусил рядом, неся кукан поменьше, с чебаками, пескариками, двумя окунями. Отец слушал меня, всё ещё возбуждённого побоищем со щукой.

Солнце клонилось к западу, с верховья задуло заметнее. Запахло знакомым кизячным дымом.

Навстречу к нам откуда-то вынырнул, выскочил наш коротконогий, кругленький, пушистый Пупсик, завилял хвостиком, приветствуя нас, и, затаввав раза два от избытка радости, засеменял-застрочил к дому, как бы указывая нам дорогу.

У поворота от дома охотника Абильмажина отец забрал у меня кукан и водрузил мне на спину нашу главную добычу. Я вцепился в конец бечёвки, продетой через жабры щуки.

Мама ждала нас у калитки, оповещенная услужливым Пупсом.

- Либер Хайланд! Кто поймал?

- Он! Он! - сказал отец. - Его удача!

Я немного смутился и добавил:

- Папа помог.

- Только чуть-чуть! - поправил отец.

Я был горд. Было только немного досадно оттого, что никто из моих аульных тамыров не видел моего трофея.

НОЧЬ В СТЕПИ

Всё! Едем!

Комендант районного УМВД смиростивился, наконец, и дал моему отцу, спецпереселенцу Карлу Бельгеру, разрешение на выезд в Петропавловск. За трое суток мы с отцом должны были каким-то образом добраться до областного центра, показать меня тамошним врачам-светилам и благополучно вернуться в аул.

Трое суток! На бóльшую свободу районный комендант Волченко разрешения давать не может. Ни-ни! Строго...

О поездке в область родители поговаривали давно. Болезнь моя прогрессирует. Боли не отпускают. Особенно худо становится мне в ненастную погоду. Как только кудлатые тучи заволакивают небо, я лежу пластом, точно оде-

ревенелый. Больная нога явно усыхает, укорачивается. Может, областные эскулапы (отец с придыханием называл звучные имена – Бронштейн, Блюменфельд, Мантейфель) знают, как следует меня лечить. Может, придётся надолго лечь в тубдиспансер. Мама от такого варианта прослезилась, и я понял, что это плохо. Но если надо...

Словом, едем. Но вот беда: тучи плотно обложили небо, и заладили нудные осенние дожди. Слякоть. Грязь. Стынь. Хоть из дома не выходи. И просвета не видать. А время-то не ждёт. Надо во что бы ни стало уложиться в трёхсуточный срок. Другого разрешения может и не быть. Командант Волченко тоже не всемогущ. Зимой же в далёкий путь не отправишься. В стужу и метель попробуй преодолеть сугробы на костылях хотя бы до школы.

Секретарь аулсовета, расторопный малый, снизошёл до нас, доставил на бричке, запряжённой зачуханной конягой, через Ишим на грейдерную дорогу.

Голосовали долго, пока порожняя полуторка не сжалилась над нами. Обросший, помятый, расхристанный шофёр, от которого за версту разлило потом и бензином, прохрипел:

- Залезай в кузов. Под брезент. Довезу.

- А нельзя ли его... - отец показал на меня, - в кабину?

Шофёр презрительно покосился на меня, тщедушного, бледного, потом – на мои деревянные костыли и сплюнул:

- Нельзя... Самому тесно...

Отец легко переметнул через борт, принял мои костыли, потом без труда втащил меня в кузов. Устроились рядом на грязных мешках, прислонились к кабинке, укрылись мокрым пологом. Машина затряслась, задёргалась, тронулась с места.

Едем.

Дождь моросил, не переставая, мелкой дробью колотил по брезенту. Слева темнел приунывший тугай. Справа тянулась убогая, бурая от дождя, безлюдная степь.

По разбитой грейдерной дороге бежит-тархтит наша раздрызганная полуторка, подпрыгивает-подскакивает на ухабах. По обочине гуртятся жирные вороны. В город, на элеватор, возят хлеб: есть чем поживиться.

Едем. Едем. Дороги нет конца. До областного центра без малого двести километров. Отец свесил голову на грудь и погрузился в дрему. У аульного фельдшера хлопот столько, что он вечно не досыпает. И потому наловчился дремать при малейшей возможности. Казахи это называют «құс ұйқы» – птичий сон. Покемарит отец минут десять. И он уже бодр.

Мне не до сна. Я и ночью-то не сплю – маюсь, всё ищу удобную позу для больной ноги. И сейчас на душе кошки скребут. Доеду ли до города? А вдруг из носу, как всегда некстати, кровь пойдёт? Как спущусь с кузова по надобности? Что скажут в диспансере? Вдруг уложат на год-полтора? Как буду жить вне дома? Как обойдусь без родного аула? Даже думать о том страшно.

Вдали мелькают затерявшиеся в степи крохотные аулы, пасутся там-сям отары овец. Понуро мокнул под дождём берёзовые колки.

Неприглядная, непроглядная осенняя скука разлилась вокруг. Всё же в нашем ауле уютней, теплей, добрей. И зачем меня увозят в неведомую даль? Бог с ней, с моей ногой, с моими болями. Ведь на чужбине, я это чувствую, мне будет ещё хуже. Раз отец не в состоянии меня вылечить, то какой прок от Бронштейнов-блюменфельдов-мантейфелей?

- Есть хочешь? - вдруг, очнувшись, спрашивает отец по-русски

- Найн.

- Захочешь – скажи, - опять по-русски говорит отец.

- Гут.

- И давай договоримся: в городе, на людях будем говорить только по-русски.

- Воцу? Варум?

- Так лучше. В ауле знают, что мы немцы, а в других местах не будем выделяться. Так лучше.

- Ах, зоо?! А что, немцы – это плохо?

- Нет... не плохо, - медленно говорит отец.
- Но...

- Васдох?

- Но... лучше по-русски. Удобней.

Я молчу. Соображаю. Странно... Я знаю, что по-русски говорю плохо, гортанно, окающе, с явным казахским акцентом. Ну, может, чуть лучше, чем сверстники-казахи. Мария Петровна, учительница русского языка, не однажды уличала меня в том, что я нарочито искажаю русские слова на казахский лад. Но что делать, если так получается мимо моей воли? Я ведь в ауле русской речи не слышу. Но замечаю, что и родители мои не особенно в ладу с русским языком. Мама вообще говорит неправильно. А у отца неистребимый немецкий акцент. У него вместо «д» выходит «т», вместо «в» – «ф», вместо «ж» – «ш», а перед гласными «с» непременно превращается в «з». Недавно мой дядя Франц прислал фотографию откуда-то с юга, на которой он был изображён с женой и большой чашей винограда. А на обороте фотографии стояла корявая надпись: «Финокраат изобственова зада». Я долго хохотал, а родители недоумевали: что же тут смешного?

Отец говорит: «Тафай!», я говорю: «Дэбай!» Отец говорит: «Запранья», я говорю: «Собрянный», а охотнее: «жиналыс». И после этого мы будем общаться исключительно по-русски? Что отец – немец, любой догадается с первого слова. И по виду – тем более. А меня за мой казахский выговор могут в лучшем случае принять разве что за татарчонка.

Смешно. Нелепо. Но, должно быть, отцу виднее. Полуторка всё чаще буксует. Дорога только называется грейдерной. Местами она – обыкновенная чернозёмная слегка утрамбованная насыпь. В вязкой кашнице с лужами машины застревают, как жуки в навозе, виляют, норовят юзом скатиться в кювет. И когда наша полуторка начинает буксовать, мотор надрывать и чихать, а колёса, прокручиваясь, яростно швыряться ошметками грязи, мы в кузове замираем, шофёр же возводит свою привычную, грозную «... мать!» в третью степень.

Долго терзал-мучил шофёр издёрганную полуторку, с трудом, с помощью витиеватого мата выбрался из выбоины, сполз с насыпи, угрожая перевернуться, поехал по травяному настилу, трясясь на рытвинах-колдобинах. Нас в кузове бросало из края в край. Чтобы удержать меня и себя, отец раскинул-расставил свои длинные ноги, упирался в борт, но временами чудилось, что я непременно вылечу из кузова со свои-

ми костылями. Раза-два и отец выругался по-немецки: «Хайлих доннер-веттер сакрамент!».

Вечерело. Буксовали мы всё чаще. Шофёр, откинув дверцу кабины, всё яростнее раскачивал машину взад-вперёд, увязал в чернозём всё глубже, всё безнадежнее, крыл многоэтажным матом и дорогу, и степь, и начальство, и небо, и дождь, и незадачливых пассажиров в придачу. Отец то и дело спрыгивал в чавкающую хлябь, весь измазюкался, подкладывал под колёса ивняк, клоки сена, придорожный кустарник, откапывал густые шметки грязи, что есть силы, толкал машину. Это повторялось всё чаще и чаще. Дождь продолжал мелко-мелко моросить. Лохматые тучи волочились едва ли не по земле, и вскоре стало ясно, что сегодня до города нам не добраться. Оставалось ещё километров шестьдесят с гаком. Так определил вконец разъярённый шофёр.

- Бздец! Хана! - буркнул он, смачно сплюнув.
- Будем ночевать. Я в кабине, вы в кузове под пологом. К утру, может, дождь уляжется, подсохнет.

Отец растерянно посмотрел на меня. Такого мы не предвидели. И как быть? Провести ночь под открытым небом в безлюдной степи на грязных мешках под мокрым пологом? И неизвестно, прекратится ли дождь, подсохнет ли дорога, выкарабкается ли машина из трясины.

И помощи ждуть неоткуда. Тупик. Ловушка. Хуже не придумаешь.

Шофёр плотно закрыл за собой дверцу кабины и устроился на двух сидениях на ночлег, укрыв голову фуфайкой.

Стремительно темнело. И тут отец высмотрел одинокий стожок сена недалеко от дороги. Отец помог мне спуститься с кузова, подал костыли, и мы, спотыкаясь, увязая в суглинок, потащились по стерне к стожку. Отец быстро вырыл лаз, и мы залезли-вобрались в сухое, тёплое логово, расстелили мешки и устроились-залегли рядком. Благодать! Я расправил спину, вытянул больную, одеревеневшую ногу, костылями слегка расширил лаз. Ну, вот! Теперь и дождь нам нипочём. И ничего нам больше не надо.

Отец покопошился в котомке, достал мне пончик-брецель, почистил круто сваренное яйцо, протянул бутылку с молоком.

Ну-у... рай, счастье, услада, скажу я вам. Вскоре мы оба провалились в сон.

...Проснулись от рёва мотора и оглушительного сигнала. Я не сразу сообразил, где мы находимся.

Первым из нашего нагретого логова выскочил отец, отряхнулся, потянулся, за ним, оберегая больную ногу и волоча за собой костыли, выбрался на свет божий я.

Стояла ранняя рань. Дождь прекратился, выдохся, дул зябкий ветер, земля точно коркой подернулась, а с вышины взирала безмятежно на пустынный мир полная луна.

Отец желая взбодрить меня, запел строчку из «Болотных солдат»:

- Doch für uns gibt es kein Klagen...

- Ты же хотел только по-русски говорить, - напомнил я.

- Ах, да!.. Но это там, в городе, на людях, а в степи можно и по-немецки.

Шофёр успел вызволить многострадальную полуторку из трясины и поджидал нас на обочине.

- Скорей, скорей! Может, прорвёмся?

Повезло. С горем пополам. С мучениями. Приключениями. К обеду добрались-таки до города, остановились у давнего знакомца, бывшего коктерекца Шалова, почистились, помылись и, наскоро подкрепившись, отправились в гортубдиспансер. Нам несказанно повезло. Сам главный областной фтизиатр, маленький, горбоносый, в очках, человечек с грозной фамилией Мантейфель, внимательно выслушал сбивчивую речь отца, бегло перелистал какие-то бумажки – направление и заключение районных врачей, потом костлявыми, холодными пальцами пощупал-потискал мой тазобедренный сустав, слегка раздвинул ранку свищей,

помычал, покрякал, нахмурил лоб, проронил несколько не понятных мне медицинских слов:

- Хо-го-шо... Ясно-о... Одевайся...

Я привычно сделал себе перевязку, натянул брючки, пытался вникнуть в суть разговора. Мантейфель показался мне сведущим и сочувствующим человеком. Особенно забавно он картавил и певуче растягивал гласные. Мне послышалось, что и он говорит по-русски несколько скованно, не так, как надо. Отца он называл непривычным словом «коллега».

- Так вот, коллега. Вы ведь и сами всё понимаете. Тэбэце. Да, да... Тэбэце костей. Идёт воспалительный процесс. И главная проблема – остановить его. Какое тут может быть лечение? Ну, ПАСК... ну, хорошее питание. Стерильные перевязки. Может, толчёная яичная скорлупа. Кальций. Свежий воздух. Конечно, мы можем его взять в стационар... в областной диспансер. Ну, и что? Условия, скажу честно, не ахти. Шесть-семь человек в палате. Есть открытые формы тэбэцэ. Питание – так себе, казённое. Воздух городской, затхлый. Карболкой отдаёт. Да-а... А у вас – аул, тишина, степной воздух, сливки, сметана, масло, куриный бульон, кумыс и прочее. Есть преимущество? Не так ли, коллега? Так что мой совет: возвращайтесь назад, примите все перечисленные мной меры. Организм молодой. Может, через год-два

справится. Никаких других средств пока нет. Пенициллин до нас ещё не дошёл. На подходе, сказывают, стрептомицин. Будем иметь в виду. Так вот... Согласны, коллега?

Отец долго молчал, раздумывал. Доктор Мантейфель пытливо поблёскивал из-под очков чёрными, навывкате глазами. Отец мельком покосился на меня. Ни за какие коврижки не хотелось мне оставаться в неведомом диспансере. Отец, должно быть, уловил это в моих глазах. Видно, и сам в душе склонялся к такому решению.

Пауза затянулась.

Вдруг отец порывисто вскочил, по-медвежьи приобнял маленького Мантейфеля, крепко потряс ему руку.

- Спасибо! Вы правы. Очень разумный совет.

Большой груз разом свалился с наших плеч. До квартиры Шалова мы добрались пешком, и я не чувствовал больной ноги. Мне почудилось: выздоровлю, непременно выкарабкаюсь, только бы добраться до аула. Даже ночёвка в степи, в стожке сена, под открытым небом, под морозящим дождём мне уже не страшна.

По пути отец заглянул в магазинчики, купил какие-то гостинцы.

На следующее утро, спозаранок, даже не позавтракав, мы с отцом направились к обрыву «Кызылжар», к развилке дорог в районы, пой-

мали попутную машину и в тот же день благополучно добрались до аула. На этот раз мне досталось место в кабине студебекера, а отец расположился в кузове, где и отоспался всласть.

Я был счастлив оттого, что вернулся в родной аул. А отец больше всего радовался тому, что уложился в трёхсуточный срок, отпущенный ему, спецпереселенцу, добрым районным комендантом.

КОТЛОВАН

В трёх километрах от нашего аула, в сторону верховья, возле весёлого берёзового колка находился колхозный стан – две избышки, крытые дёрном, одна шошала, сплетённая из тала, обтянутая старой кошмой, небольшой сарайчик-загон для скота и навес для скудной техники – обиталище трактористов, плугарей, сеяльщиков, бороновальщиков, косарей, сезонная стоянка для тружеников полей. Рядом со станом темнел большой пруд, обрамлённый камышом, ряской и ивняком. Со стороны крутого бережка вода была глубокая, тёмная. Здесь черпали воду на хозяйственные нужды. Противоположный, южный берег был пологий, ископаченный, глинистый. Там поили лошадей, плескалась малышня. Пруд отец называл котлованом,

а аульчане – карасу. Я тогда уже смекнул, что любой водоём у казахов либо карасу, либо аксу. Так назывались даже соседние аулы.

Котлован весной наполнялся талой водой, ручьями стекавшей отовсюду, а потом пополняли его обильные дожди. Потому в самое знойное лето пруд не пересыхал, радовал прохладой и тенистой зарослью. Одно плохо – рыб в пруду не водилось. Никаких. Одни лягушки квакали-надрывались перед закатом на всю степь. Отец часто навещал обитателей стана, оказывал медицинскую помощь, любовался простором и естественным водоёмом в открытой степи. Но то, что в этом озерце не было рыбы, отца постоянно удручало.

Он об этом говорил на колхозном собрании, прожужжал уши баскарме и бригадиру: надо, дескать, обрыблить водоём, это же клад, да, да, благодать. Над затеей отца только посмеивались: е-е... першыл, это божье дело, рыбы, мол, и в Есиле достаточно, только ловить её некому, да и некогда, кто будет с удочкой сидеть часами на бережку, ведь идёт война, рабочих рук и так кругом не хватает.

Что верно, то верно: и работы в колхозе невпроворот, одни бабы-хатуны да подростки лямки тянут, и война с проклятым керманом длится третий год.

А река Есиль-Ишим в том году разлилась в половодье широко, хлынула из берегов, затопи-

ла тугай, луга, прибрежные старицы, ёрики, болота. Потом вода отступила, оставив переполненными все впадины в низине. И однажды, уже в июне, я со своими аульными тамырами обнаружил, что мелководье, нагретое солнцем, в бочажном томаре кишмя-кишит рыбьей молодью. Сплошь крохотные, с полпальца, головастики-карасики. Замутив прибрежную воду, мы их черпали кепками, тубетейками, ладошками. Но что делать с этой мелкотой? Ни сварить, ни зажарить, и живьем не проглотить.

О своей находке я рассказал отцу.

Его мгновенно осенило.

На другой день он выпросил у баскармы телегу, запряжённую изнурённым колхозным меринком. Поставил на телегу кадку, две фляги, привязал их покрепче, и мы отправились к бочагу. Я, шлёпая ногами по мелководью, поднял ил, потревожил стайки мальков, они, задыхаясь, косяками вынырнули на поверхность замутнённой жижи, и отец, соорудив из своей майки подобие сачка, зачерпывал их и сноровисто наполнил всю ёмкость на телеге. Кто знает, сколько тысяч мальков-карасиков мы выловили за какой-нибудь часик!

А ещё за час мы, похлёстывая замороженного мерина, добрались до котлована и торжественно выпустили всю молодь в озеро возле колхозного стана.

Отец был доволен.

Баскарма посмеивался: ай, першыл, выдумщик.

Я сгорал от любопытства: и что же будет?

Через год мы с отцом, усевшись под ивой, долго вглядывались в тёмную заводь и убедились: прижились наши карасики, плавают, резвятся в камышовых зарослях, греются на мелководье, шустро шныряют туда-сюда и выросли с палец. А ещё оказались среди них и пескарики.

«Ну, ещё годик-другой, и приедем с удочками», - сказал отец.

Кончилась война.

Отпраздновали победу.

Но в ауле жили бедно. Нехватки сказывались во всём.

Раз в неделю мы с отцом ездили на стан, и я натаскивал удочкой по ведёрку пузатеньких, с плотной, золотистой чешуёй, весёленьких карасиков сплошь одинаковой величины – с ладонь.

Карасей развелось столько, что, казалось, их черпать – не вычерпать.

Озерцо в ауле назвали именем отца. Никто не осмеливался удить здесь рыбу без его разрешения.

Но вскоре объявились откуда-то рыбаки с бреднями. Отца это расстраивало.

Но беда пришла позже – с первоцелинниками в начале пятидесятых. Этот люд не церемонился ни с кем, ни с чем. Рыбу глушили динамитом, на тихом, зелёном берегу разводили костры, варили уху, хлестали водку, горланили на всю степь похабные песни и вскоре опоганили всю окрестность.

Почему-то после войны снега выпадало всё меньше и меньше. Талые воды уже не заполняли котлован, как прежде. Тальник вырубил, камыш подожгли, весёлое степное озерцо обмелело, походило на большую лужу. Один из домиков обвалился, ивовую шошалу пьяный целинник разнёс трактором.

Студентом, приезжая в аул, я навевывался к озеру. Всё пришло в запустение. Всё вокруг было распахано. Удить снулых мальков уже не хотелось. Да и сидеть у вконец захиревшего котлована было грустно. На стане обитали незнакомые, хмурые люди. Берёзовый колок зачах. Торчали одни пни. Жаворонки уже не заливались звонкой трелью в синеве неба. По обочине истерзанной тракторами дороги гуртилось сытое, крикливое вороньё...

«ЭЙ, НЕДОБИТЫЙ ФРИЦ, ДАЙ СПИРТ!»

Весной 1954 года в нашем тихом, зелёном ауле объявились, как снег на голову, первоцелинники. Откуда их только набралось! Горластое, нахрапистое, дремучее мужичьё наводило ужас на благонамеренных аульчан. В один день первоцелинники опустошили сельмаг, мигом пропустили через лужёные глотки многолетние залежи тройного одеколona и пудры. Вели себя как разбойники-шакалы: ко всем приставали, одним только свирепым бандитским видом своим перепугали всех, забубенную уборщицу колхозной конторы изнасиловали среди белого дня прямо на телеге аульного баскармы, воровали кур, динамитом глушили рыбу в Ишиме, горланили похабные песни, оглашали растерявшийся аул отборным русским матом. Случалось, в тяжком угаре устраивали гонки на тракторах. В поисках горячительного ездили на комбайне в соседние аулы.

Месяца через три-четыре это разбойное племя исчезло. Оказалось: никакие не первоцелинники, а обыкновенные уголовники, шпана, шантрапа, сволота, выпущенные на волю и получившие солидные подъемные.

Один из них мне особенно запомнился. Расхристанный громила, покрытый бурой щетиной, коротко остриженный, невымытый, с нали-

тыми кровью глазами, с железными зубами, огромными кулачищами, он делал частые вылазки в аул, слонялся неприкаянным орангутангом по дворам, пугая стар и млад. Сиплым басом рыкал:

- Эй, марджа, айран-шалап есть, махан есть? Давай!

Приставал к девушкам, молодкам:

- Эй, кызымка, дамбал шеш, лапак дай. Сделаем мало-мало вася-вася...

И, выразив своё потаённое желание непотребным жестом, довольный собой, утробно хохотал.

Все его боялись, называли «жынды Иван» – «Буйный Иван».

Председатель колхоза так и не подыскал ему подобающей работы в хозяйстве. Обитал буйный Иван в пустующем сарае возле кузницы.

Раза-два заявился жынды Иван и в медпункт. Бесцеремонно вваливался к отцу, щерился, обнажив кривые, чёрные железные зубы, люто вращал глазищами, водил огромным, с кулак, кадыком, урчал:

- Эй, недобитый фриц, спирт давай! Шнель, шнель! Не то...

Я как раз зашёл к отцу сменить перевязку на незаживающих свищах. И, признаться, встревожился. Таких страхолюдин видеть в ауле не доводилось. А этот орангутанг был даже выше

ростом моего отца и намного массивнее. К тому же, поговаривали, что в голенище у него финка.

- Не то, что? - спокойно спросил отец, расставляя какие-то склянки на длинном узком столе между двумя окнами.

- Увидишь, фриц!

- Вон отсюда! - тихо сказал отец, всё так же стоя к верзиле спиной.

Я омертвел. Почудилось: сейчас схлестнутся. Ведь буйный Иван на всё горазд.

- Не понял?! - зловеще пророкотал пришелец.

- Во-он!!! - незнакомым голосом прокричал отец, и шея его вмиг побагровела.

Я обомлел. По низу живота прокатился холодок. Слабость ударила в ноги. Бинт едва не выпал из моих рук. Ужас-то какой! Разве мыслимо этому громиле возражать? Уж лучше дать ему мензурку спирту и отвязаться.

- Ты-и... что-то вякнул, фриц?! - выпрямился верзила, упираясь стриженной башкой-калганом в потолок. - Ну, ты у меня, фашист недорезанный, поплачешь! Давай, выйди на дорогу, поговорим...

- Иди! Жди! Сейчас приду!

Буйный Иван, топоча сапожищами, вышел, длинно и вычурно выругался:

- Тра-та-та-та-та... четыре с половиной господу душу... мать!

Мне такого ещё слышать не приходилось, хотя и учился «на отлично». В ауле матерились значительно лаконичней.

Из окна медпункта я видел: буйный Иван, горбясь, вышел на просёлочную дорогу, встряхнулся, изготоясь к схватке, сбросил рваную фуфайку на обочину, повернулся в сторону медпункта и похлопал по причинному месту.

Отец покосился на верзилу из окна, мельком как бы примерился, приладился к нему, решительно скинул белый халат, подтянул офицерский кожаный ремень, засучил рукава и стремительно вышел.

Я прильнул к окну. Сердце заколотилось. Что будет, что будет? А вдруг буйный Иван пырнёт отца финкой?

Отец подошёл к верзиле вплотную, рослый, подтянутый, сухой, что-то сказал, орангутанг схватил его клешнями за грудки, надвинулся над ним всей тушей. И тут вдруг отец молниеносно рванул его к себе, крутанул за руку, подставил подножку и верзила – о, боже! – тяжело рухнул на пыльную дорогу.

- А-а-а-а... - послышался его рёв. - Фашист! Фриц!

Несколько аульных хатунов возле колодца, застыв, наблюдали за этой сценой.

Отец взял верзилу за шкуру, встряхнул его, заставил подняться, и, едва тот встал на ноги

и распрямил спину, как коленом резко двинул ему в пах, и страхолюдина обмяк, схватился за живот и опять рухнул мешком в пыль.

Я такого не ожидал. Смотрел в окно ни живой, ни мёртвый.

К хатунам возле колодца присоединились кривоногий сосед Беким и ватага малышни и смотрели на побойще, разинув рты. Теперь месяц в ауле будут шушукать о том, как на пыльной дороге в смертельной схватке сошлись урус и немьс.

Между тем верзила очухался, медленно поднялся с земли и, угрожающе растопырив узловатые пальцы, рыча, надвинулся взбесившимся чудищем на отца. Я слышал, что урки могут запросто выколоть глаза противнику. Отец, по-боксёрски прикрыв лицо кулаками, медленно отступал, тело его напружинилось, голова ушла в плечи. Мохнорылый верзила, чуть сутулясь, шаг за шагом надвигался, грозно нависал над ним. Я замер. Чудовищные пальцы-клешни вот-вот замкнутся на тонкой, жилистой шее отца, и тогда ему несдобровать, не вырваться. И тут отец отшатнулся назад, мгновенно оттолкнулся обеими ногами, чуть согнулся и, что есть силы головой, саданул мохнорылого в грудь. Тот раскинул руки и, как подкошенный, шмякнулся оземь.

Хатуны и кривоногий Беким у колодца ликующе вскинули руки, пацанва победно запрыгала. Сердце моё подскочило к горлу. Во рту пересохло.

Такого разве в ауле увидишь?

Отец некоторое время смотрел на поверженного обидчика, потом нагнулся, посмотрел в заросшее щетиной лицо его, пощупал привычно пульс и пошёл восвояси, будто ничего не случилось.

А буйный Иван вскоре встал, отряхнулся, заозирался вокруг, будто припоминая, что, собственно, случилось, и где он находится, потом, волоча за собой грязную фуфайку, побрёл к колодцу, ополоснул лицо, руки из деревянной колоды и подался в сторону кузни.

- Перевязку сделал? - спросил отец, войдя в медпункт.

- С...сде... сделал, - ответил я деревянными губами. Страх сковал меня.

- Тогда иди. И не бойся. Этот сюда больше не сунется. Получил и за «фрица», и за «спирт». Це-лин-ник!...

Буйный Иван, действительно, из аула убрался. А о его бесславной стычке с аульным «першылом» (фельдшером) ещё долго рассказывали по всей округе.

КОЛОДЕЦ

Когда-то, ещё до войны, аул на берегу Есиля, куда нас депортировали, назывался Кабай-Туяк. Посередине двух частей аула пролегал овражек с ровной ленточкой осин и берёз. Та часть, в которую нас поселили, называлась Кабай. А, может, и Туяк, теперь уже точно не помню. Пацанва из двух частей аула иногда устраивала побоище. Я представлял родовую ветвь Кабай. Выяснив ребячьи отношения, мы дружно носились по аулу, а годы спустя и вовсе забыли, кто Кабай, а кто – Туяк.

Со временем овражек превратился в едва заметную ложину, а стройный ряд осин и берёз в годы войны вырубил на дрова.

В ауле было три колодца. Один – между сельмагом и школой, на пограничье Кабай-Туяк, с высоким срубом, с лебёдкой. Второй – на отшибе, возле кладбища, со скрипучим «журавлём», с приятной, мягкой водой. Третий находился через дорогу от нашего дома, с воротом, шатким навесом, с тяжёлой, ржавой цепью. Вода в нём была солоноватой, жёсткой. Но ничего... привыкли, пользовались. Уж больно удобное было место. Здесь же поили скот из большой, потресканной деревянной колоды. Одна морока с этим колодцем: аульные хатуны в него без конца роняли вёдра. Бог знает, почему так

получалось. Поговаривали даже, что на дне колодца притаилась нечистая сила, некий джин-шайтан, который от скуки творит втихомолку разные козни.

Аульчане приходили к отцу.

- Ойбай, Белгір, беда. Помоги! Уже семь дворов обронули вёдра.

- Ну, першыл, придумай что-нибудь.

А что придумывать? Во всём ауле «кошка» – кованый крюк-трезубец имелся у моего отца. Но и с «кошкой» надо уметь обращаться. Попробуй изловчиться и подцепить вёдра, лежащие вповалку на самом дне. Сноровка нужна.

У отца есть всё: и «кошка», и верёвка, и длинный шест с железным крюком, и – главное – умение. Работает отец артистически. Когда он начинает орудовать «кошкой», осторожно, наощупь, водить ею по дну колодца, на зрелище это сбегаются и дети, и хатуны. Отец долго крутит конец верёвки, то отпуская, то подтягивая её, прислушивается к глубинному всплеску, колдует. Публика, затаив дыхание, наблюдает за каждым его движением. Я стою в толпе и испытываю гордость за своего отца.

Наконец, отец медленно наматывает верёвку на локоть, подтягивает ведро к краю сруба, стараясь, чтобы не задело выступ и не сорвалось с крючка, подцепляет ведро багром и вытаскивает его на свет божий.

- Моё, моё! - радостно восклицает дородная Балшекер.

- Точно? - строго вопрошает отец.

- Ия, ия... Менікі!

- Бери. И больше не роняй. С тебя магарыч!

- Болады, Белгір, болады!

Отец снова опускает грузную «кошку». И через некоторое время извлекает из сумрачной глубины второе ведро.

- О! - бросается к нему молодуха Кульшара.

- Твоё?

- Моё, моё! Все знают. И даже не помялось.

- И с тебя магарыч!

Публика приходит в возбуждение. Улов удачен. Детвора ликует.

- Ещё! Ещё!

Семь вёдер достал отец. Публика в восторге. Разве не событие в ауле?!

- Ай. Белгір!

- Көп жаса!

- Пусть твоя жена разродится сыном!

Отец продолжает водить арканом туда-сюда. На дне колодца, в самом углу, наверняка что-то ещё есть, но «кошка» никак не может уцепиться.

- Тихо!

Отец медленно, почти не дыша, подтягивает что-то громоздкое. Слышен плеск воды. Наконец, у самого сруба показалось нечто чёрное, бесформенное, сплюснутое.

- Қауға, қауға! - вопит малышня.

Отец низко склонился, дотянулся рукой до кюги – кожаного ведра с сыромятной петлёй вместо ручки.

- Ойбай, это же кауга Сеит-ходжи!

- Да, да она самая! Он её ещё три года назад уронил.

А к кауге сбоку каким-то чудом прицепилось ушком помятое, закоптелое ведёрко-топатай.

- Надо же!

- Вот так находка-олжа!

- Это грязнуля Магриба уронила.

- Всё! - объявил отец. - Концерт окончен. Больше не роняйте.

Долго обсуждали на все лады это событие в ауле.

С годами воды в этом колодце становилось всё меньше и меньше. Да и та оказалась мутной, с неприятным запахом и не в меру солёной.

- Надо чистить колодец, - озабоченно говорил отец.

Но как? И кто будет чистить? Ответа не было. За дело принялся отец. Сплёл верёвочную стремянку, вооружился лопатой, мотыгой, ломом, фонариком, обвязался за офицерский пояс ремнями, спустился в тёмную глубь. Время от времени доносился его гулкий голос.

- Майна!

- Вира!

Четверо жилистых старшеклассников-интернатовцев за полдня достали из колодца двести вёдер мокрого, вязкого, чёрного, как вакса, грунта. Отец подкопал, углубил дно более чем на метр, добрался до песчаного слоя, вывернул пару валунов, наткнулся на жилу-родник и, крихтя, выбрался-вылез весь мокрый, измазюканный, осунувшийся, на себя не похожий. Вода хлюпала в его обшарпанных кирзовых сапогах, стекала с брезентового плаща, с шапки, завязанной у подбородка тесёмками.

Вокруг загалдели:

- Ой, Алла!

- Астафиралла!

- Апырай, это наш Белгір или водяной?

- Дьявол! Страха не знает!

Колодец ожил. Вновь стал полноводным. Вёдра наполнялись мгновенно. Лебёдка весело поскрипывала; цепь бойко лязгала. Аульчане повалили к очищенному колодцу. Жаль: вода по-прежнему оказалась жёсткой, соленоватой.

- Ну, это уже не в моей воле, - отвечал отец.

Несколько лет колодец в ауле называли именем отца.

...В день шестидесятилетия я посетил родной аул, в котором не был четверть века. В отчем – осевшем, почерневшем, деревянном – доме аульчане устроили для меня юбилейный дастархан. Земляки, помнившие отца, щедро

обласкали меня. Я был счастлив, тронут до слёз. Но аул свой не узнал и того колодца не увидел. На том месте соорудили сцену, с которой мне, как почётному гражданину села, было поручено местной властью вручать передовым труженикам осенней страды грамоты и ценные призы.

ОРКЕСТР

Мало было у моего отца, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом в радиусе семи аулов, забот и хлопот, надумал он ещё создать школьный струнный оркестр. Должно быть, после моего отъезда в институт он разочаровался в домашнем оркестре. С юных лет отец играл на любительском уровне на мандолине, скрипке, гитаре, балалайке, позже настойчиво приучал играть на этих инструментах и своих детей. От меня ещё был какой-то толк: я прилично играл на мандолине, аккордеоне, мог аккомпанировать на балалайке. Мама в какой-то мере овладела гитарой, освоила несколько аккордов и напевала под перебор струн старинные немецкие песни. Особенно задушевно получались у неё. «Du hast Diamanten und Perlen» и «Du, du liegst mir im Herzen». Сестёр моих и маленькую мою дочь отец тоже упорно учил сызмальства держать такт, играть на балалай-

ке и домре-пикколо. Правда, особого усердия и умения они так и не проявили. Отец солировал на скрипке, отбивал ногой заданный ритм, всем корпусом подсказывал переход тональности при аккомпанементе, но необходимого лада и склада в нашем домашнем оркестре не обнаруживалось.

Отца это удручало. Как же так?! Там, на Волге, в немецких сёлах, успешно музицировали почти все от мала до велика – непременно играли либо в струнных, либо в духовых оркестрах. Самые бестолковые могли, на худой конец, чётко отбивать такт на деревянных ложках, кастаньетах или барабанах. Ритм чувствовали почти все, а уж пели в три голоса запросто. А тут, в Казахстане, медведь вдруг разом всем на ухо наступил. «Не та среда», - горестно констатировал отец. Кто знает...

Отец не мог с этим смириться. Он был убеждён: усердием и прилежанием всего можно добиться. Каждый человек должен на чём-то играть, хотя бы на губной гармошке. Преображался, оттаивал отец душой, когда на огонёк заглядывали к нам братья-кузнецы Иоганн и Антон Энгели. Им были подвластны не только кузнечные инструменты, но и музыкальные. Да и репертуар у них был такой же, как у отца – вальсы, польки, марши, немецкие песни.

Впятером мы нередко играли на школьной сцене, и аульчане искренне радовались, поддерживали нас:

- Уай, маладес!

- Дают немысы!

- Эх, если бы ещё на домбре играли!

Энгели вскоре перебрались в другое село. Антон стал знатным комбайнёром, рационализатором, Героем труда. Я уехал на учёбу. Маме стало не до музицирования: подрастали дочки, прибавилось хлопот по дому и медпункту. И отец решил организовать школьный оркестр.

Поразительно: школьное и аульное начальство горячо поддержало намерение отца. Раздобыли даже какие-то деньги, и отец обрёл в районе и области несколько мандолин, парутройку скрипок, разных размеров балалаек, барабан, бубенцы, кастаньеты, сам смастерил цимбалу. Отобрал по своему выбору двадцать учащихся шестых-седьмых классов и трижды в неделю по два часа проводил репетиции. Поначалу аульные оркестранты играли кто в лес, кто по дрова. Мугаллим Жылгельды усмехался: «Э, Карл-ага, легче обезьян дрессировать в зоопарке». Действительно, каждый норовил солировать. Никто никого не слушал и не слышал. Всего труднее было научить новоиспечённых оркестрантов такту, ритму, слаженности, слуху. Но отец был терпелив, да и ребята старались.

Через полгода школьный струнный оркестр прилично исполнял вальсы «Над волнами» и «Дунайские волны», марш «Кузнецы» и польку «Теренсай» отцовского сочинения.

С этим репертуаром отец со своим оркестром выехал в районный центр на смотр художественной самодеятельности и, по рассказам-воспоминаниям земляков, произвёл фурор. Мугаллим-конферансье Жылгельды Муканов, искусный шешен-златоуст, играя голосом, торжественно объявлял:

- Вы-сту-па-ет... струнный оркестр-р-р... Ленинской ка-зах-ской средней школы... под руководством отличника здравоохранения ЭсЭсЭсЭр и... отличника народного просвещения Казахской ЭсЭсЭр... фельдшера-акушера... Карла Фридриховича Бельгера-а!

Зал, рассказывали мне, приходил в волнение, начинал неистово хлопать. Шутка ли?! Струнный оркестр из аульской школы! Где это видано? Ну-у, трио домбристов куда ни шло. А тут оркестр! Интересно. Любопытно.

На сцену, не спеша, вышли гитаристы, балалаечники, скрипачи, мандолинщики, расселись по местам, оглянулись в ожидании чего-то. Сплошь черноволосые, черноглазенькие, трогательно милые. Потом, выдержав паузу, вышла девочка-крохотуля с бубенчиками, коло-

колышками, очень серьёзная, сосредоточенная, в белых бантиках, в длинном расшитом платье и опустилась на маленькую табуретку впереди всех.

Зал всколыхнулся, загудел, захлопал. Потом аплодисменты смолкли, и вышел на сцену широкими шагами долговязый, сухопарый, длинноносый руководитель оркестра. Он напряжённо замер перед музыкантами, взмахнул смычком, приладил скрипку к подбородку, произнёс негромко: «три-четыре!», и оркестр – о, чудо! – слаженно вступил в «Дунайские волны». Барабанщик в заднем ряду чётко, размеренно отбивал ритм, колокольчики заливались к месту, мандолинщики тонко-дробно тремолировали, гитаристы точно и вовремя задёргали басовые струны, скрипки выпевали мелодию, балалайки дребезгливо вторили.

Такого в районном центре доселе никто не слыхивал, не видывал.

Оркестранты, довольные, переждали шквал аплодисментов, восторженные выкрики, и тут на сцену вышел эффектный конферансье и звучным, раскатистым баритоном объявил:

- Польша! «Теренсай»! Музыка Карла Бельгера-а!

Руководитель, топнув ногой, взмахнул смычком, сыграл задорное вступление, и оркестр грянул вовремя, в такт.

- Оп-па! Оп-па! - подзадоривал в сторонке музыкантов темпераментный конферансье Жылгельды.

Оркестр превзошёл себя. Кто-то из мандолинщиков, войдя в азарт, сбился было с такта, забежал вперёд, но руководитель, заиграв громче и бойчее, грозно сверкнув глазами, осадил торопыгу вовремя. Полька всех возбудила, а барабанщик орудовал колотушками с таким рвением, что, казалось, вот-вот сам пустится в пляс.

- Bravo!

- Бис! - взорвался зал.

И раскрасневшийся руководитель вновь взмахнул смычком, крикнул, как на репетиции: «Три-четыре!», и оркестр повторил игривую польку с начала до конца.

...Мудрено ли, что школьный оркестр моего отца занял тогда первое место по району и получил право выступить на областном смотре художественной самодеятельности. Об успехе оркестра писали в районной и областной газетах. Вырезки из них отец прислал мне в Алматы.

Со временем коллектив распался, костяк музыкантов, окончив школу, разъехался, и тот оркестр остался лишь в памяти аульчан и в истории школы.

ТЫ ВОВУ ПОЗДРАВИЛ?

Дел невпроворот. Голова кругом.

Звонок из Ташкента. Голос отца. Взволнован. Взбудоражен.

- Т-та-ак. Письмо мое получил?

- Получил. Спасибо.

- Я писал про нашу новость. Почему молчишь?

Лихорадочно соображаю. О какой новости речь? Родители здоровы. Сестры при деле. Племянники в здравии. Все вроде тип-топ.

- Ну и? - строго вопрошает отец.

- Что-то не понимаю.

- Не понимаешь? Вовку в пионеры приняли. Ты его поздравил?

О, господи! А я-то думал, гадал. Действительно, в том письме отец взволнованно описал, как он был в школе, на торжественной линейке, как Вовка вступил в пионеры, как под барабанную дробь его хлипкую шею повязали красным галстуком, как его дед-коммунист от имени партийной организации Байсунской махалли выступил перед юными пионерами, вспоминал свое детство в селе Мангейм Гнаденфлюрского кантона, какой это важный, ответственный момент в становлении юного поколения, какой был Вова нарядный, отутюженный, в черной тройке и белой рубашке, какой

это был праздник, запоминающийся, конечно же, на всю жизнь. Крупным, корявым почерком это событие было описано во всех красках на четырех страницах «амбарной» книги.

Вова Тимченко – мой племянник, сын младшей моей сестры. И я, его дядя, писатель, в ту пору член КПСС, по искреннему разумению отца, должен был племяша-пионера непременно поздравить с этим событием или письмом, или телеграммой, ибо я в первую голову ответственен за политическое и гражданское становление своих родных, двоюродных и троюродных племянников. Иначе грош цена всей моей писанине и общественной деятельности. Как так можно – не поздравлять племянника со вступлением его в пионеры?! Неужели я забыл:

Как повяжешь галстук,

Береги его.

Он ведь с нашим знаменем

Цвета одного.

Нет, такого отец от меня не ожидал. Вот он и наставляет меня на путь истины.

Я отложил все свои дела, отправился на почту, отбил новоиспеченному пионеру Вове Тимченко поздравительную телеграмму и написал еще письмо с подобающими такому случаю словами. Помню, восклицательных знаков в том письме было много.

В следующем своем письме отец подчеркнул:

- Все получили. Все правильно. Все, как положено.

Интересно, помнит ли верзилистый, лысеющий детина, капитан милиции Владимир Борисович Тимченко, живущий ныне в Воронежской области, о том, как он поступал в пионеры, и какие высокие гражданские чувства при этом испытывал его идейный дед?

СКОЛЬКО ЖЕ В ТАШКЕНТЕ БЕЛЬГЕРОВ?

После завтрака мы с отцом заспешили в центр Ташкента.

- Кани, кани, келинг, - по-узбекски поторавливал меня отец.

- Хазир, хазир, ота, Карл-бобо, - в лад ему ответил я.

Есть в Ташкенте такое шумное, бойкое местечко, именуемое «Сквером». Там, рядом с парком, находится партком Хамзинского района, в котором отец возглавляет комиссию ветеранов.

Дел, насколько я понимаю, в этой комиссии не так уж и много, но отец относится к своим обязанностям с большой ответственностью.

Иногда мне кажется, что вся работа ветеранской комиссии всецело зависит от моего отца. Ну, а я уже несколько дней слоняюсь по ташкентским музеям.

Ташкент – уникальный город. Древность и современность в нём причудливо переплелись и притягивают взор. Только ходи и любуйся.

У «Сквера» мы вышли из раздрызганного, скрипучего автобуса-коробочки, простились и разошлись по разным дорогам.

В обед, спасаясь от немилосердной жары и духоты, я походил по прохладному, уютному парку. И тут неожиданно столкнулся с отцом. Обтирая рот носовым платком, он выходил из углового, крохотного кафе-стекляшки.

Увидев меня, обрадовался.

- В этом кафе подают дивные манты. Да и чай хорош, - сообщил мне отец.

- Хм-м... А дела свои закончил?

- *Lieber Gott*, разве дела закончишь? Спешу!

- Ладно. Я тогда загляну ещё в исторический музей поблизости.

Расстались.

Вечером, на исходе рабочего дня, я подался к стоянке Пятого автобуса. Народу – что льдины в половодье. Автобуса всё нет и нет. А солнце по-прежнему яростно печёт. Но ташкентцы, кажется, его и не замечают. Галдят, как на базаре. И на всех наречиях. Русские, узбеки, татары, евреи, уйгуры, дунгане, армяне, китайцы.

Боже, кого только нет! В глазах рябит, в ушах звенит.

- Herold! Ich bin da! Герольд, я здесь, - слышу знакомый голос.

Смотрю: легкий, поджарый, порывистый мой отец, Карл-бобо, ловко пробивается ко мне сквозь разноголосую толпу. Мы радостно улыбаемся друг другу, будто давно не виделись. Знаю: теперь отец одним из первых проникнет в автобус, затащит и меня и даже место займёт.

На всё той же раздрызганной пыльной развалюхе-коробочке в тесноте и давке, потные, помятые, измочаленные, еле-еле добрались до Шумиловского городка. Отсюда до нашей махалли рукой подать.

- Нög mal! Слушай! - говорит по дороге отец.
- Должно быть, Бельгеров в Ташкенте немало...

- Как это?

- Видишь ли, в один день я сам встретил аж трёх Бельгеров. Одного утром на остановке, другого в обед в парке, а третьего – вечером в нашей махалле. Поразительно!

- Да, да, - поддержал я отца. - И я за один лишь день столкнулся с тремя стариками-немцами. Самое удивительное – все трое Бельгеры.

- Майн Готт! Выходит, за один день мы встретили шестерых Бельгеров?! Сколько же их в этом городе?! Вундербар!

И мы оба от души расхохотались.

ПРАДОМ

Это напасть какая-то, наваждение. Химера. Некая непреходящая тоска. Она меня прямо-таки преследует. С годами все явственней.

Я даже не знаю, как ее назвать. Недавно осе-нило: тоска по прадому. У каждого живущего на земле, наверное, есть (или должен быть) прадом.

Звонит племянница из Ташкента и сообщает горькую весть: все, решено, нет больше мочи, работы нет, перспективы никакой, жить становится невмоготу, продают за бесценок дом, усадьбу, бросают родительские могилы, могилы бельгерского клана и уезжают, уезжают, уезжают, едва ли не бегством спасаясь, в Россию.

А дом, усадьбу на Байсунской, 59, в Ташкенте, многократно описанные мною, – это последнее пристанище, светлая обитель, душевная опора, для меня неугасимые очаг и память моих родителей.

И я бессилен что-либо предпринять и противостоять неминуемой катастрофе.

И горестные думы накатываются на мое израненное сердце.

Где мой прадом?

Где та святыня, неизбывная отрада, согревавшая мою душу на моем немалом пути, на ухабистой моей дороге?

Alles ist hin. Все пропало, сгнуло, рухнуло, исчезло, растворилось, истаяло во мраке забвения.

Да-а... род приходит, род уходит... Волна покрывает волну. И жизнь, вечно обновляясь, умирает, угасает в водовороте бытия.

Так, где же мои истоки? Где мой прадам?

Неведомо мне, как жили, в каких домах бывали свою жизнь мои далекие гессенские предки. Чую, не от хорошей жизни мой пращур Андреас Бельгер с женой Луизой и двумя детьми подался из германского княжества в дикие, запущенные края Поволжья по зову русской кайзерин Екатерины Великой. Чую, очень не сладко жилось его потомкам в суховейных, безжизненных степях необъятной Руссланд. Дико бедствовали на необжитом месте, уповая на немецкие прилежность, трудолюбие и терпение, незадачливые бельгеры в дорфах-селениях Кинд и Мангейм на Волге. Это я знаю, чувствую, ясно представляю, помню по генетической памяти.

И я живо вспоминаю просторный бабушкин дом и усадьбу в селе Мангейм Гнаденфлюрско-го кантона на Волге в канун войны с фашистской Германией. Помню и дом, и летнюю пристройку, и пустовавший хлев, и разные хозяйственные строения — курятник, овечий загон, крытый погреб, и подворье, и палисад-

ник, и сеновал, и скрипучие ворота, и калитку, и чахлый пустырь за почерневшим от времени элтернхаус.

Допускаю, что для моего отца, для моих дядьев и двоюродных братьев и сестер, погибших в большинстве в годы лихолетья в трудармии, на лесоповале, в шахтах, на стройках, в ссылке, бабушкин дом и был тем самым прадомом, который я изредка посещаю в своих тревожных снах. Помню, как тяжело умирала сухопарая, строгая, аскетичная бабушка Элизабет в возрасте 70 лет; помню похороны в подворье, где собралась вся деревня; помню холмик в открытой степи, вокруг которого в сырой, стылый день стоял и я, шестилетний, с пригорюнившимися родителями.

А потом... уже через несколько месяцев все пошло прахом. И очутились мы в глухом, кизяком и овчиной пропахшем казахском ауле в Северном Казахстане. И там, уже после войны, когда высочайшим указом было объявлено, что советские немцы высланы навечно, и путь на малую родину им заказан навсегда, отец построил – с благословения казахов – новый деревянный дом, прочный и основательный на загляденье.

Вот этот дом снится мне часто. Родители покинули его в 1971 году, перебравшись по обстоятельствам к трем дочерям в Ташкент.

Когда мне исполнилось 60 лет, я посетил родной аул, и земляки для меня освободили родительский дом, в котором я провел свой юбилей. О, это были счастливые мгновения моей жизни! Душа моя ликовала. Древние старики и старухи, помнившие меня пацаном, изумленно цокали языками: «Апырай, неужто и нашему Гере стукнуло шестьдесят лет!». И дом был рад нашей встрече. Все было знакомо, все памятно, вплоть до зарубок на косяке, которыми отец обозначал годовой рост своих чад.

Увидев свой дом и аулчан, записанных на кассету, отец мой не смог сдержать слезы умиления, радости и печали.

Ныне и этот дом разрушен до основания. Остались лишь разросшиеся деревья, некогда посаженные отцом.

Теперь настал черед тотальной разрухи и последнему родительскому дому в Ташкенте в Байсунском тупике. Этот дом был светлой и счастливой обителью многолюдного клана Бельгеров со всеми его побочными ответвлениями. Здесь более тридцати лет жили, росли, радовались жизни, учились и работали, множились, собирались за сдвинутыми столами во дворе под виноградником и могучей орешинной не один десяток разноплеменного люда, объединенного волей, радушием и теплотой моих родителей – Карла Фридриховича и Анны Давыдовны.

Увы, счастье нигде долго не задерживается. Оно незаметно уходит, оставляя место печали и скорби, разрухе и тлену. Захирел наш счастливый семейный островок. Рано покинула белый свет самая младшая сестра Роза, потом ушла мама... Сестра Альма и кое-кто из племянников подались в вожделенную Германию, еще кое-какая родня предпочла Россию; ушел, так и не дожив до ста лет, как запрограммировал себя, отец, все чаще вздыхая: «Ach, Kinder, Kinder!», вслед в горе и тоске вмиг угасла и сестра Эльма, меня одолели злые хвори, дочку – заботы и нелады в бестолковой Москве, дальняя родня растворилась в благополучном Deutschland, родительский дом и усадьбу охраняла-берегла по мере сил и возможности несколько лет племянница с семьей, теперь вот и она надломилась, решила испытать счастье в российской глубинке. Байсунский тупик в Ташкенте обернулся тупиком всех надежд и чаяний. Завершился некий таинственный круг бытия. Сказано: все было прахом, будет прахом. Зарос травой забвения родительский очаг, след отца-матери на земле.

«Дервиш, где дом твой?.. - вопрошает мой таджикский собрат Тимур - Иль ты вечный цыган-кочевник?..

А разве не больно бездомному на земле?..

Дервиш улыбнулся:

- А где дом у ветра? У звезды? У облака?»

Красиво. Мудро. Но меня это не утешает.

Память тоскует по правому, затерянному во Вселенной. Во сне я часто бываю в тех домах, где, видно, маятся в одиночестве моя неприкаянная душа.

Разбрелись по белу свету потомки моих родителей, и большинство их, несчастных, ничего уже не помнит. Они, кажется, обременены лишь повседневными житейскими заботами. И то, о чем я здесь пишу, для них, скорее всего, – химера.

А я пишу эти ностальгические строки по обыкновению лежа на диване – надежном пристанище нынешней моей дряхлеющей плоти, а душа и память неприкаянно бродят где-то, как дервиш-скиталец, в поисках иллюзорного прадома. И дьявол-искуситель мерзко похихивает надо мной: - Э, бишара-сорлыбаюшка, напрасно ищешь сгинувшее в тартарары Времени.

ЧАСТЬ III

ЭТЮДЫ ИЗ ЦИКЛА “ОЙ-ХОЙ, ДУНИЕ, – БРЕННЫЙ МИР»

ПОЗНАВАЯ СЕБЯ (Сократ-Гете)

Эссе

*Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.*

А.С.Пушкин

Должно быть, возрастное. Ловлю себя на том, что все чаще перетряхиваю тощую торбу своей жизни, вываливая разом ее содержимое, и разбираю его вместе с двумя дотошными мусульманскими ангелами – Мункиром и Нанкиром, сидящими на моих правом и левом плечах. Все тщательно перебираю, вызвав в памяти тени прошлого, все содеянное в немалой своей жизни. Получается, будто я познаю себя.

Кажется, таким был философский постулат Сократа: «Познай самого себя!»

Сократу то было к лицу: он был мудрец и гений. А от того, что я примусь познавать себя, кому холодно или жарко? Но, может, это имеет

локальное значение? Ведь придумала же весьма серая матрона уроки самопознания в школах. Можно допустить, что какой-то смысл в таком самопознании все-таки есть. Чтобы хотя бы определить свои душевные качества, способности, самооценку, свою ментальность в своих и чужих глазах, соразмерить свою индивидуальность (если таковая есть) с обществом, в котором тебе суждено обитать. Вероятно, великим следует познавать себя, чтобы служить примером, образцом для человечества, чтобы выработать какой-то идеал, к чему простому смертному пристало стремиться. По принципу Абая: «Белмасаң да? ұқсап бақ!» (Примерно: «Постарайся подражать, хоть таким и не станешь»).

Писатели, философы пишут свои творения, постигая себя, анализируя сферу бытия через себя, через свою душу, выворачивая себя, все тайники души своей наизнанку. Не о том ли все произведения Руссо, «Поэзия и правда» Гете, «Книга слов» Абая, «Иосиф и его братья» Т. Манна, «Игра в бисер» Г. Гессе – называю навскидку первые пришедшие в голову имена?

Вообще-то инстинктивно и я познаю себя всю жизнь. Разве не о том свидетельствуют мои дневники, которые я усердно пишу со второго класса аульной школы, или мои писания в форме прозы, публицистики, эссеистики, критики, литературоведения? Выходит, и я настойчиво

познаю себя, выявляю свое самое сокровенное, достойное и глупое, анализирую на чаше нравственных весов все содеянное, иногда испытывая удовлетворение, а нередко и стыд, отвращение, досаду («И с отвращением читая жизнь свою»). Всякое накопилось на далекой дороге жизни, разное набралось в торбе. Что-то охотно хотелось бы отбросить, выкинуть за ненадобностью, да невозможно, поскольку к прошлому возврата нет – так устроена мудрость жизни.

Что позволено Юпитеру, то не положено Быку.

Что к лицу мудрецам Сократу или Конфуцию, то кажется смешным майлинскому Мыркымбаю.

Но я все больше склоняюсь к мысли, что и непутовому Мыркымбаю, как и глупому немецкому Гансу, как и везучему Ваньке-дурачку совсем не помеха познавать себя, что, в сущности, они и осуществили. Может, именно это и ведет (или вело бы) человечество к нравственному прогрессу? Но вот если учесть, что это самое человечество с античных времен (насколько мне позволительно судить) не особенно изменилось и в наши дни, то это, возможно, оттого, что подавляющее большинство его вовсе не занимается познанием себя, а живет исключительно – веками! – ради выживания, ради добывания хлеба насущного в поте лица.

Оно зациклено не столько на самопознании, сколько на банальном продолжении рода и поддержании жизни (огня) в очаге под шанраком.

Да, такой вариант я допускаю.

Иначе говоря, просто-напросто не всем (далеко не всем!) дано познавать себя. Просто недосуг заниматься самокопанием, самоанализом. И то верно: чего познавать, если ровным счетом познавать нечего? Может, именно потому и литература в наши дни явно теряет свое философское, социальное и общественное реноме?

Думаю, сократовская формула не всегда срабатывает. Она свойственна и действенна исключительно божьим избранникам. Если они познают себя, несомненно, есть прок для простых пенде – грешных земных созданий.

Я, например, это сознаю, и все же, стремлюсь познавать себя в слабой надежде, что моя жизнь, мои тщетные судороги также для кого-то имеют смысл. По крайней мере, читательские письма и многочисленные телефонные звонки-реплики намекают на это.

Если же в том смысла нет, то, как говорил Абай, «оз созім өзімдікі», то есть «мои слова исключительно принадлежат мне», и я их никому не навязываю.

Но что значит познать себя? Каков его механизм, по какому гамбургскому счету самопо-

знание достигается? И где и какой его вождь-ленный Грааль?

Нет, пожалуй, четкого ответа. Может, у немецкой философии (мне непосильной!) он и есть, затерялся-затаился в тысячах томах, но у меня, аульного мамбета (по меткому определению А. Кекильбаева и Е. Турсынова), его, ответа, нет.

И сильно смущает меня то, что Иоганн Вольфганг Гете, с мнением которого не считаться никак нельзя, весьма сдержанно относился к сократовскому философскому постулату: «Познай самого себя!».

Николай Вильмонт (блистательный литературовед, эрудит-германист, гетевед – я его, похвалюсь, встречал в Доме творчества писателей в Переделкино вместе с его женой, классной переводчицей с немецкого Наталией Манн) в своей пространной вступительной статье к «Dichtung und Wahrheit» Гете эффектно коснулся этой темы и приводит гетевские поэтические строки, полные сарказма:

- *Познай себя! – Просил бы разъяснений.*
- *Извольте: надо быть и вместе с тем не быть!*
- *Да, эту формулу создал, бесспорно, гений: Так коротко, а может с толку сбить.*

Верно: с толку сбить может, как и лапидарное гегелевское: «Все действительное – разумно; все разумное – действительно».

Что-то мудреное и лукавое заключено в этом «Надо быть и вместе с тем не быть».

Приходит на ум диалектическая загадка из казахского фольклора: «Есть одна дорога: далекая, но близкая. И есть вторая дорога: близкая, но далекая».

Так ведь устроена и жизнь: «Прекрасная, но полная страданий и лишений; полная горя и мук, но прекрасная и желанная».

Довольно расхожая, банальная истина.

Но метко. Можно спорить дни и ночи напролет, а ничего не доказать.

Цитирую Н. Н. Вильмонта:

«Как познать самого себя?» - вопрошает Гете, и сам же дает ответ: «Только не путем наблюдений над собою, а отдаваясь делу. Попробуй исполнять свой долг, и сразу узнаешь себе цену».

«Предаваясь самопознанию, которое проповедуют попы и моралисты, мы не сдвинемся с мертвой точки, не добьемся ни реальных результатов, ни внутреннего самосовершенствования».

«Я утверждаю, что человек никогда не научится себя познавать, никогда не сможет смотреть на себя как на объект познания».

Так рассуждал Гете.

Задумываешься, не правда ли?

И хотелось бы поспорить с Гете, да аргументация слаба. Что ни говори, а самопознание полезно. Нет смысла отрицать и возможность самопознания. Да и, думается мне, каждый самобытный, самодостаточный человек в состоянии смотреть на себя как на объект самопознания.

Конечно, далеко не все, о чем пойдет впереди речь.

Оттого, что, полагаю, нынешние наши депутаты, члены правительства, службисты президентской администрации в одночасье возьмутся за самопознание, какой общественный смысл, много ли вообще проку?

Они постоянно мельтешат перед глазами публики, сложной духовной организацией не отличаются, интеллектом не выделяются, помыслы их достаточно приземленные, амбиция, конечно, есть, да амуниция убога, мыслительная потенция ограничена, очевидными талантами за редким исключением не блещут, язык топорно-суконный, гражданское обличье размыто, деяния подневольные, чиновничьи, характеры скользкие, поступки конъюктурные. Сколько ни анализируй душу, сколько ни копайся в душевном коржуне, мало что накопишь-извлечешь.

Значит, чтобы познать себя, надо еще кем-то быть. Из серой пендежки и Сократ ничего не выудит.

Получается, что Гете ближе к жизни, к реальности, к истине. Человек должен уметь, прежде всего, трезво оценить, что он совершил, что он сделал для общества, для народа, для человечества, если уж на то пошло. В этом смысле Абай в своих «Факлиях» перекликается с Гете: прочтите внимательно все его сорок пять философских эссе. Вы обнаружите явную перекличку воззрений и идей.

Конечно, «Познай себя!» актуально на все и во все времена. Если при этом ты что-нибудь из себя представляешь.

Вот стою я на балконе, обзираю доступную мне окрестность, думаю-размышляю о том, о чем, вспоминаю прошлое, пытаюсь осмыслить настоящее, копаюсь в себе – познаю себя.

А кому это надо?

Внизу дворник Айупхан яростно метет двор, покрикивает на нарушителей парковки, скребет мусорный контейнер, занимается своим привычным делом, работает еще в двух местах, чтобы выучить детей.

Интересно, он тоже познает себя или уже познал?

На скамейку нашего двора устало опустились две милovidные полуголые девахи. Изму-

ченые, истрепанные, они только что выбрались из соседнего ночного клуба и бессильно прижались друг к другу.

Любопытно, как у них обстоит дело с самопознанием? Или они тоже познали себя и окружающий их мир заодно?

Эх, растолковал бы мне все это мудрец Сократ...

Поневоле больше склоняешься к правоте Гете.

Вот с этой колокольни я и оцениваю литераторов и литературу. Особенно с нынешней моей возрастной высоты.

Я вообще-то имею базовое педагогическое образование. Дипломированный преподаватель русского языка и литературы. Методист по аспирантуре. Читателем всегда был усердным. Так вот, русская литература (имею в виду, главным образом, классическую) в познании самого себя и мира имела на меня наибольшее влияние. В нравственном моем воспитании и умственном развитии она, полагаю, сыграла главенствующую роль. Философская максима: «Познай себя!» максимально (извините!) выражена, именно, в русской литературе. Распространяться по этому поводу нет смысла, ибо это постулат очевидный.

А учился я в казахской школе, всю жизнь вращаюсь в казахской среде, много читаю казахов, переводил с казахского языка на русский

уйму книг, писал немало исследовательских работ по казахскому языку и статей-рецензий о казахской литературе.

В познании себя и мира, видимо, косвенно имела влияние и эта сторона моих читательских интересов. Однако скажу откровенно, философское кредо «Познай себя!» - не самая сильная ее струя. Бросаются, прежде всего, в глаза ее описательность, ее экзотичность, выпренность, пафосный слог, велеречивость и многословие. Словесно себя казах никогда не ограничивал. Для казаха время и пространство – категория безмерная. И того, и другого у щедрого творца в досталь. Такая сложилась историческая ментальность. По пышнословию казахская литература, на мой взгляд, занимает одно из ведущих мест в мире. Я не говорю, что это изъян. Нет. Это просто одна из характерных ее черт. Она ярко живописует, лепит метафоры и сравнения, играет словами, будто вспенивает терпкий кумыс, восхищает образностью, изысканными украшениями-излишествами, дидактикой, нравоучением и назидательностью. Она менее всего настраивает человека (читателя) на познание самого себя. Мысль – не главный ее конек. Она привлекает словным узором, замысловатыми орнаментами. Старается привлечь внимание читателя (слушателя) плетением словес и завлекательными подробностями. Словом, «алыстан шауып, қисанып тауып...».

Казахская проза для ума не очень калорийная пища. Пухлый «Жұмбақ жилау» Сабита Муканова я с упоением мог читать только в 6-м классе аульной школы. Сейчас подобное читать я не смогу даже в одиночной каталажке при трехразовом приличном питании. А ведь на таком уровне написаны штабеля казахской прозы. Я ее никак не отрицаю и не унижаю, а просто констатирую ее познавательный заряд.

Возможно, я ошибаюсь, но я склонен именно так ее воспринимать. Ум она обогащает меньше всего. Ее функция или козырная карта – описание безмерности и разумности божьего бытия. Именно так я воспринимаю изысканную прозу Аймаутова, Ауэзова, Т. Алимкулова, Кекилбаева, Магаулина, Нурмаганбетова – шести ведущих, на мой взгляд, казахстанских прозаиков. Проза казахская интеллектуально весьма однообразно-ровная и географически плоская, как безмерная казахская степь, как плато Устюрт. Сопок, увалов, хребтов, гор встречаете немного, далеко за горизонтом.

С годами меня все больше манит-привлекает-притягивает немецкая литература. Боже, сколько гигантов! Гете, Генрих и Томас Манн, Гауптман, Герман Гессе, Ремарк, Генрих Белль, Гюнтер Грасс... Не стану далее перечислять, слишком длинным получится список. Добавьте сюда блистательный ряд философов – Кант, Гегель, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше, Шеллинг,

Фихте... ойбой, разве всех упомнишь?! (Признаюсь, мои познания о них ограничиваются, главным образом, серией «ЖЗЛ») Вот основные мощнейшие истоки самопознания. Вот кто руководствовался философским штандпунктом: «Познай себя!». Они, эти литераторы и философы, и себя познавали, выстраивая обстоятельные системы миропонимания, и других заставляли облагораживать душу высокими, дерзновенными мыслями.

У меня ныне почти отпало желание читать «чисто» художественные, изящные беллетристические поделки (особенно авторесс). Ну, и что из того, что писатель Тугеншеев или Такойтович, возомнивший себя истинным художником, красиво, высокопарно, велеречиво описывает восход и закат солнца, небо, облака, звезды, рябь озера, игру теней, шторм на море, бурю в степи, утреннюю росу, секс в стоге сена и т.д. и т.п. – все это было, было, было и сотни, и тысячи раз. Можно, конечно, восхититься: Ах! Ах! Какая картина, какой образ, какие нюансы и детали!.. Ну, вымучил автор-эстет еще один эпитет, вставил в лыко еще одно сравнение, поиграл-позабавил словесами-выкрутасами, озадачил туманным намеком, что-то недосказал, что-то неумеренно расписал, ну и что? Все это на любителя, на пресыщенного эстета, на гурмана, на сноба.

Для меня все это нечто пройденное, надуманное, вымученное, как бальмонтовские аллитерации и ассонансы, как фетовское «шепот, робкое дыхание, трели соловья», как хлебниковские «ребусы» и «кроссворды», как нарочито излапанные цветаевские синтаксические конструкции и т.д.

Философичность немецкой прозы, ее нацеленность на диалектику души, ее психологическая и словесная точность, четкость и ясность мысли меня прельщают все больше и больше. Она, как мне кажется, неизменно следует философской формуле Сократа.

Может, именно эта струя немецкой прозы меня и волнует, и обогащает мою душу и ум?

Литература знает великолепных художников слова, истинных ювелиров типа Бунина, Шолохова, Паустовского, Нурпеисова. Я их охотно читаю, пробую каждое слово на зуб, восхищаюсь их живописанием, умением плести-вышивать узоры, выжать из слов затаенную музыку, чары, колдовство. Все так. Но я не могу довольствоваться кондитерскими яствами, для ума необходима иная пища. У этих тонких художников совсем иное видение, иной штандпункт, мысль их не первична, несколько поверхностна, они не формируют и не формулируют логику бытия, а больше заняты колдовством слов.

Потому после них я должен читать непременно Герцена, Толстого, Солженицына и подлинную художественную публицистику Л. Леонова, Ч. Айтматова или Кендзабуро Оэ.

Допускаю: сказывается мой эстетический изъясн. Ограниченность. Спорить не стану. Но я ведь свое видение и ощущение никому и не навязываю.

Вершиной художественной прозы я считаю «Войну и Мир» Л. Толстого, «Иосиф и его братья» Томаса Манна и «Путь Абая» Мухтара Ауэзова. В этих монументальных творениях нашли созвучие, гармонию мыслитель и художник. Таковы вершины трех близких мне литератур.

А мимовольно мне думается: если бы наши высоко взобравшиеся государственные чиновники ежегодно прочитали бы эти 12 томов, они находились бы на совсем ином духовном уровне эстетического и нравственного развития и воспринимали бы мир совсем иначе, и в познании себя и общества заметно приближались бы к миссии служения народу.

Увы!..

И данным эссе я пытаюсь посылить привлечь внимание читателя к сократовскому «Познай себя!» и гетевскому скептицизму и сарказму по поводу «надо **быть** и вместе с тем не **быть!**».

Герольд Бельгер
Август 2012 г.

ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ И ДАЛЬНЕМУ (Ф. Ницше – Т. Зульфикаров)

Случилось так, что я одновременно перечитывал Фридриха Ницше и Тимура Зульфикарова. И обнаружил между ними немало общего и созвучного.

Вопрос: а правомерна ли такая постановка?

Думаю, да.

Особенно в форме изложения, в лапидарности, в эмоциональной насыщенности, в философской концентрации познания бытия, в подтекстах, в стилистическом шарме, в музыкальности и поэтичности фразы, в колдовстве слога.

Да мало ли в чем? Почитайте – убедитесь. Попробуйте только вникнуть в суть.

И никому из них механически подражать невозможно, как бы просто и соблазнительно это ни показалось. Они самобытны, абсолютно уникальны. Их и на другие языки переводить, скорее всего, невысказимо. Переводчики Ницше на русский язык вынуждены толковать, разжевывать иные многозначные понятия и выражения. А я, читая русскоязычного Тимура, мысленно прикидываю, как бы передать его притчи, его вычурную, неподражаемую ориенталистскую интонацию по-немецки или по-

казахски. Я испытываю магическую робость перед его стилем. На каждом слове попадаешь впросак или вообще в тупик.

Он афористичен и метафористичен.

«Молодость – быстротекущее время.

Старость – лимотекущее время.

Вечность – всетекущее время, но вечности нет без смерти».

Или:

«Муж в любви – зверь, а жена в любви – мать...

Муж в любви – водопад, а жена в любви – заводь...»

Он поэтичен в каждой фразе, у него тяга к возвышенному, сказовому слогу.

«О, сладкая, возжеленная, необъятно сладкая халва, бездна в ногах жен!

Как не стремиться туда мужу, если он вышел оттуда?..

Как не любить гнездо рождения своего?..

Как не лелеять кибитку, мазанку-люльку-зыбку детства сладчайшего, первоначального, птенцового своего?..»

Он мудр, философичен.

«Мудрость и Власть на земле – враги!..

И так будет до скончания времен, до скончания веков...

Мудрость протекает в монастырях, а власть – в кремлях...

Разве встречаются они ... и на Кресте...»

В поисках истины он категоричен и беспощаден. Хочешь – спорь, не можешь – соглашайся.

«Все дороги на Руси – к Голгофе тайные пути.

Даже когда русский человек ночью, в поле, идет за водкой – он бредет на Голгофу...»

(Тимуру, пожалуй, корректно так говорить: у него матушка – русская, а батюшка – таджик).

Довольно, однако. Не могу же я цитировать всего Зульф리카рова.

А за ним, за его спиной, ухмыляется в густые усы-щетки сумрачный дядюшка Фридрих, там, далеко, в глубине веков, ошарашивает отравленными скепсисом истинами-сентенциями.

Оба очень парадоксальны. С какими-то их утверждениями никак не хочется соглашаться. Ты ведь в плену собственных жизненных впечатлений. Но и их спорные суждения эпатируют, ошарашивают, волнуют, будят мысль,

оставляют ворочать камни дум и задумываться. Ты покорно бредешь, как на поводу, по их тропе вслед за Заратустрой, реформатором древнеиранской религии (X-VII век до н.э.), и бессмертным суфийским мудрецом-дервишем, на тысячелетия познавшим оба мира.

Вслушиваешься, вчитываешься, вчувствуешься в сентенции немецкого гения:

«Из всего написанного я люблю только то, что пишется собственной кровью. Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух»

«В горах кратчайший путь – с вершины на вершину: но для этого нужны длинные ноги. Притчи – те же вершины, а те, к кому обращены они, должны быть высокими и могучими»

«Враги ваши должны быть достойны ненависти, но не презрения. Вы должны гордиться вашими врагами: тогда успехи их будут и вашими»

«Да будет любовь ваша к жизни любовью к высшей надежде, а этой надеждой пусть станет высшее из убеждений ваших!»

«Государством зовется самое холодное из всех чудовищ. Холодно лжет оно; и вот какая ложь выползает из уст его: - Я, государство, я – это народ»

*«Если ты раб, то не можешь быть другом.
Если тиран, – не можешь иметь друзей!»*

То, что я сказал выше о Тимуре Зульфикарове, – о лапидарности, афористичности, метафоричности, поэтичности и философичности и пр. – в полной мере приложимо и к Ницше. Или – наоборот, что будет логичней и справедливей во времени и пространстве.

Синтаксис, правда, иной. Дыхание иное. Цветная гамма мировосприятия разная. Несколько монотонный, сдержанный, аскетический фон Запада и яркие, сочные, пестрые, буйные краски экзотического Востока. Но узоры, мысли, душевный настрой явно перекликаются. Словесные узоры, в неизбывной тоске по истине бытия.

Фридрих Ницше:

«Разве призываю я вас любить ближнего? Скорее я посоветую бежать от ближних и любить дальних!»

«О, как много тех, для кого высота – предмет вожделения! И тех, у кого вызывает она судороги честолюбия! Покажи, что ты не из этих сладострастников и честолюбцев!»

«Счастье мужчины зовется «Я хочу». Счастье женщины – «Он хочет»»

«Многие умирают слишком поздно, а иные – слишком рано. Пока еще странным покажется учение: «Умри вовремя!». Умри вовремя: так учит Заратустра»

«Я – северный ветер для спелых плодов. Так, подобно плодам смоковницы, достаются вам поучения эти, друзья мои: пейте же сок их и вкушайте их сладкую мякоть! Осень вокруг, и чистое ясное небо, и к вечеру клонится день»

Ницше, конечно, стоит немного в иной плоскости, он обитает в иных пределах, где-то там, далеко, недоступно, за горизонтом жизни-смерти.

Тимур Касимович близок, почти рядом, современник-замандас, загадочный, манящий суфий, бытующий в веках, поэтически и философски воспринимающий божий мир.

Одинокий дервиш среди мудрецов.

Зачарованный их беседой, возвышенной духовной перекличкой, я бреду по каменистой тропе, по которой шли некогда незабвенные Заратустра и Ходжа Насреддин.

Под влиянием творчества Ницше оказались очень многие. Разве всех перечислишь? Философы-литературоведы называют Л. Шестова, Б. Шоу, Т. Манна, Г. Гессе, А. Камю, Ж. П. Сартра. Из казахов (я свидетель) еще студен-

том грезил Ницше эрудит Аскар Сулейменов. Он «болел» им долго, постоянно цитировал его, произносил на свой лад: «Нитче». На излете 50-х годов прошлого века припожаловал как-то из Москвы модный и активный критик Лев Аннинский (тогда он обладал пышной шевелюрой и был без бороды) и страшно удивился, что его коллеги, как он считал из глухой провинции – Аскар Сулейменов и Зейнолла Сериккалиев – досконально знают немецкого оригинала-мыслителя Фридриха Ницше.

И еще доподлинно знаю, что с «Так говорил Заратустра» не расставался казахстанский прозаик Иван Щеголихин.

Я пишу эти вольные строки на основании прилежного перечитывая, в основном, двух книг: «Так говорил Заратустра» Ницше и «Изумруды, рубины, алмазы мудрости в необъятном песке бытия» Тимура Зульфикарова.

О чем рассуждает Ницше? Вот названия некоторых главок-притчей: «О трех превращениях», «О кафедрах добродетели», «О мечтающих об ином мире», «О радостях и страстях», «О чтении и писании», «О войне и воинах», «О целомудрии», «О друге», «О любви к ближнему», «О ребенке и браке», «О свободной смерти» - таковы не все названия этюдов из первой части «Так говорил Заратустра». А всего ча-

стей в книге четыре. И таких философских миниатюр я насчитал 81.

А как называются главки этюдов и притчей у Зульф리카рова? «Мудрость», «Власть», «Народы», «Русь», «Любовь», «Смерть», «Загробные странствия», «Бог», «Конец мира», «Тело», «Тайна смерти», «Вера», «Суфии», «Мириады человеков», «Ветер», «Дева рая» ... всего 83 этюда, притч, афоризмов, стихотворений и песен.

Эти две книги я читал медленно, долгими зимними вечерами, задумываясь, пробуя на вкус каждое слово, по одной притче, по одному абзацу, с любой страницы, наслаждаясь, восхищаясь. Я читал эти книги попеременно, как бы участвовал в виртуальной беседе, но не встречал в разговор мудрецов, только слушал, испытывая восторг. Один из собеседников – человек Запада до мозга костей, другой – Востока, пронизанный восточным мироощущением и мировидением. Я вслушивался в их речи и вспоминал «Западно-Восточный диван» Гете. Случалось, в эту беседу мудрецов дерзко вклинивался Олжас, размахисто утверждая: «Нет Востока, и Запада нет – два сына есть у отца!»

Ах, какая услада души – слушать мудрецов разных эпох за одним столом в ночной тиши! Я подолгу не мог заснуть, вставал, ходил по кабинету, высовывался на балкон, смотрел на

редкие звезды на стилом небе и на одинокую, отрешенную Луну.

Мысленно я продолжаю бродить по следам Заратустры и Ходжи Насреддина.

А сейчас я остановлюсь, обыгрываю в уме немецкую сентенцию: «Wenn's am besten schmeckt, soll man aufhören», т.е., когда вкуснее всего, следует остановиться.

И все же не удержусь, воспроизведу напоследок магические строки Тимура из его притчи «Стрекоза» (в названной выше книге она стоит последней).

«Всю жизнь я дружу со стрекозами... и они ищут меня, и льнут ко мне...

Трепет крыл их меня очаровывает, отуманивает, убажкает, успокаивает... Как стихи Хафиза иль Саади...

Но паук остался голодным, обделенным...

О Боже!.. жаль и его...

Господь! Творец!.. что творишь Ты?

Где истина в мирозданье Твоем?..

Я – стрекоза Твоя...

Я – паук Твой...

Я – человек Твой...»

Чувствую: выразился коряво, топорно, неладно. Хотел сказать тоньше, проникновенней. Но лучше сейчас не могу. Нет той магии и колдовства, присущих Ницше и Зульфикарову. Владеть бы стилистикой «Игры в бисер» Гер-

мана Гессе. Куда там?! Воображение чахлое. Никак не выразишь того, что хотел, что смутно бродит в душе. Что взволновало, удивило, потрясло, поразило, взбудоражило, заставило почувствовать свои приземленность и ничтожество.

Что поделаешь? Есть недостижимые высоты Духа, есть недоступные смертному вершины, где обитают-парят, изрекают вечные истины Гении – Избранники Земли.

*Герольд Бельгер
6 февраля 2013 г.*

ЧАСТЬ IV

СТАТЬИ-РЕЦЕНЗИИ

СЛОВО – ВЫСТРАДАННОЕ ЧУВСТВО

«Паук» – так называется философский рассказ-эссе Хакима Омара. (Кто такой Хаким Омар? О том скажу позже). Рассказ, о котором пойдет речь, написан почти тридцать лет назад. Меня он сразу «зацепил», я в нем услышал отдаленные кафкианские мотивы.

Паук в тихих, затаенных уголках дома или юрты бесшумно плетет свою узорчатую паутину.

Мать рассказчика, скромная труженица, хранительница очага, преодолевая старческие недуги и телесную слабость, ткет свой ковер «Битпес» («Неосуществимый» – «ее благословение, пожелание, наставление, ее свершение и ожидание, великая связь и преемственность поколений»).

А рассказчик, нещадно казнящий себя за свое затянувшееся безделье, упивающийся своими неудачами в жизни («Я смешон, я несчаст-

лив, я непотерянный человек)), досадуящий на свое ничтожество («Кто я? Никто», «Чего я добился в жизни? Ничего»), мудро и мастерски ткет свое эссе, в котором ничего вроде не происходит, но которое привлекает внимание читателя сокровенными и неизбывными думами-размышлениями о жизни, о кочевниках-предках, о казахах городских и аульных, о крутых мировых свершениях. Читаешь эссе с расстановкой, не торопясь, задумываясь едва ли не над каждой строчкой, вникаешь в философскую глубину. Вспоминаешь Абая: «Қиыннан қиыстырар ер данасы» – «Из чуда искры высекает гений».

Поневоле следишь и следуешь за ходом размышлений автора эссе.

Вот идет рассуждение о словах подлинных, полновесных и безответственных, легковесных, как надутый бурдюк. «К каждому слову, любила мать повторять, следует привязывать камень, выполняющий роль грузила, которое, удерживая на определенном уровне, предупреждало возможность внезапного всплытия слова-бурдюка. Нам часто не хватает сдержанности в характере, взвешенности в словах. Наступило то время, когда мы не управляем словами, слова не управляют нами».

Как это точно и верно замечено. Слова-пузыри, слова – надутые бурдюки, слова – сорная трава довлеют над нами, заполонили наши

души, грязным потоком льются со страниц СМИ (господи, сколько же их развелось!), с голубого экрана, с эстрады, с высоких трибун. Из уст словесных жонглеров, набили оскоми-ну, одурманили наши головы, превратили наше бытование в иллюзорный мир.

Вчитывайтесь в нашу печать. Слов-пустышек в ней больше, чем – простите – вшей в тулупе аульного Жайлаубая в годы войны. Вслушайтесь в речи наших доморощенных депутатов, членов правительства, около президентской администрации – это же сплошной мусор, фантом, воляпюк, симулякр, которые никаким агрегатом не вычистишь, и эта тотальная девальвация слов будет, пожалуй, похлеще инфляции худосочных тенгушек. Надо хоть иногда прислушиваться к советам Абая, хоть изредка вглядываться в словесный узор Востока, почитать хотя бы немного русских классиков, а не лялякать, как Бог на душу положил, сотрясать воздух, как трепло-пустоболт, надо же брать пример у тихого паука и чародейки-ткачихи, вышивающих-плетущих свои ою-орпеки в отрешенной тишине.

Вот о чем подумалось мимовольно, читая рассказ эссе Хакима Омара.

Рассказчик сетует на неустроенность своей судьбы. Он подмечает то, с чем мы, горожане, давно уже свыклись. «Семь лет торчу в этом

городе, в плену его каменных стен. Этот холодный город. Эти суровые горы... Они никогда не возвысят человека. Здесь живут в яме».

Эти ощущения мне были знакомы лет пятьдесят назад. (Сейчас я так не думаю. Наоборот). Но поначалу я, приехавший сюда из степного раздолья северного Казахстана, тоже угнетающе воспринимал и каменные стены, и суровые горы, которые по утрам назойливо хотелось отодвинуть, чтобы смотреть в даль, за южный горизонт, и гигантская яма-котел. Потом привык, более того, искренне полюбил этот город и гордился (горжусь) им. А вот на «яму» ссылался и мой отец. Он считал, что здесь дышать невозможно, тебя будто впихнули, мол, в мешок и сжали-сдавили со всех сторон. «Нет, здесь жить нельзя, - решил мой отец и перебрался из северного Казахстана, где фельдшерствовал тридцать лет, в Ташкент. «Там равнины, там простор, там можно дышать».

Автор «Паука» считает: «А нужно строить дома на возвышенности. Лучше в степи. В ровной степи. Сильные народы всегда занимали равнинные земли».

И я вспоминаю равнины Кызылжара, Костаная, Павлодара, Семеня, Мангышлака, России, Западных стран. Наверное, прав этот потомок вольных кочевников – Хаким Омар. Он болезненно воспринимает «утрату традиционных

ценностей, небрежное отношение к исторической памяти и, как следствие, – податливость любому легковесному влиянию, безоглядное механическое погружение в чужую культуру и среду, бездумное вовлечение себя во вселенское течение конформизма и космополитизма».

О, да... есть такой казахский грех? Конечно! Паук в углу дома тихо ткет свою узорчатую паутину и навевает подобные думы. И они находят отклик, отзвук в моей душе. А ведь эссе написано давно, еще в 1984 году. Сколько прошло лет? Сколько стряслось событий? А мотивы эти находят созвучие в уголке сердца.

Автор видит: «Мир стремительно меняется и предлагает другие формы и отношения. Более успешны те, кто смог вжиться в ритм практицизма».

Не спорю. Это очевидно. Конечно, более успешны, но более счастливы ли? Вот в чем вопрос. Почему многие чувствуют себя одинокими, обездоленными, неустроенными, невостребованными? Почему общество отсекает многих, как изгоев. «Безымянная масса не прощает искажения своей сути, в толпе никто никого не выше, не ниже, все усреднено, все унифицировано, внутреннее содержание выхолощено».

Отчего эти духовные катаклизмы? - задаю я, читатель, себе вопрос. Некая зараза постигла моих сограждан-земляков. Каким словом ее

определить? Приходит на ум немецкое «Geldjäger» – букв, «гонщик за деньгами». Именно в последнее двадцатилетие (т.е. со времен так называемой независимости) все поголовно помешались на погоне за золотым тельцом. Деньги вытравили все. Акша, акша, акша. Весь мир свихнулся на money. Химерические материальные блага, низменная корысть, копеечная выгода околдовали человеческую сущность, дьявол наживы, подлый искунитель сбил человека с праведного пути в толпу. Хаким Омар пишет: «Человек незаметно превратился в пленника. Вещи, окружающие нас, сплели паутину, связав нас невидимыми нитями, и сделали заложниками собственного благополучия. Современный человек несвободен, он и не стремится разорвать оковы, он придавлен тяжестью окружающих предметов».

Ну, не так разве? Вчерашний раб нищеты превратился в раба изобилия. Поколения боролись за свободу, за независимость, за раскрепощенность, а добившись вожделенной свободы, тут же плюхнулись в болото потребления, вместо того, чтобы взмыть душой на крыльях созидания.

Не нонсенс ли? Не искушение ли Азазеля? Не верный ли путь к крушению, к самоистреблению, к тотальной гибели?

Хаким Омар трагически воспринимает лишение кочевника своей праматери – Степи.

«Степь – огромное пространство, здесь все устремлено вдаль, все движется, не стоит на месте». И он поет гимн бескрайней степи. Он задается вопросом: «Где теперь обитатели этих просторов, пестрые и шумные караваны кочевников?» Он вспоминает древнюю поговорку: «Қала болдың – мола болдың» (т.е. ты загнал себя в город, ты впал в могильный холод). Цивилизация обходится Степи и степнякам дорого.

Созерцая тихую работу неутомимого паука, рассказчик плетет свою неторопливую паутину-эссе. «Кочевник, глядя на паутину, постигал редкое для него явление – покой – и на мгновение успокаивал свое беспокойное сердце, а паук в решетчатых стенах юрты вдыхал воздух вечного движения».

Ткет-вышивает всю жизнь разные изделия неутомимая мастерица – мать рассказчика. Паук – по-казахски өрмекші. Это означает «плетущий орнамент». Казахский паук – совсем не то, что русский или немецкий. Казахская примета: если паук распускает свою паутину, то это к дороге.

И еще: «Пауки приносят счастье. Человек, берегущий их, будет долго жить. Не трогайте пауков». Таков завет Матери.

Глядя на паука, ткущего свои невесомые узоры в уголке потолка, рассказчик думает: «... Пока не поздно, нужно встать и идти своей до-

рогой. Пауки беспощадны к тем, кто перестал двигаться».

...Ткет паук свою паутину.

...Ткет Мать свои нескончаемые узоры на ковре «Битпес» ...

...Ткет Хаким Омар свое раздумчивое эссе.

...И, читая его, посильно тку и я свой много-летний цикл «Плетенье чепухи».

Стал наводить справку: кто такой Хаким Омар?

Никто из моих знакомых ответить не смог. Видно, тихий, скромный трудяга, державшийся особняком и пишущий на русском языке свои рассказы и эссе.

А меня он разыскал на аллее возле памятника Чокану. Вручил свою книгу со странным названием «Демб» («Что за Демб?» «Прочитайте – узнаете». «Неужто казахское слово?») Он загадочно усмехнулся), давний сборник Акселеу, энциклопедию «Сакен Сейфуллин» и журнал «Тамыр». Дома полистал журнал и приятно удивился: Хаким Омару отведено много места. Наткнулся на фразу доктора филологии Айгуль Исмаковой: «Слово в книге Х. Омара – это итог выстраданных чувств».

Думаю, верно определено. Я могу только это подтвердить.

*Герольд Бельгер.
Июнь 2012 г.*

ЧАРЫ ВОСТОКА

Мотивы Востока робко и сладостно коснулись струн моей немецкой души еще в школьные времена. Арабские и персидские (на языке фарси) слова в той или иной форме, чаще всего искаженной, редкой жемчужиной вклинивавшиеся в обыденный казахский речестрой, ублажали мой слух, звучали льющейся невесть откуда музыкой, томили, будоражили, волновали. Это были какие-то осколки, знаки, фрагменты таинственного, сказочного мира, манящего и недоступного, окутанного хмарью зыбкого времени.

Откуда этот смутный зов? Отчего сердце поволжского мальчишки-немца неизъяснимой усладой, точно трепет, пронзали звуки чужеземной, неведомой речи? Может, Абай невзначай взбудоражил дремотную душу, заронив в нее незнакомые имена и слова?

*Фзули, Шәмси, Сайхали,
Науаи, Сағди, Фирдоуси.
Хожжа Хафиз – бу ғаммаси
Мэдәт бер шагири Фәрияд...*

Непонятное манило, томило, ласкало слух, арабские и персидские слова и фразы в поэзии и прозаических гаклиях Абая звучали возвышенно, вдохновенно, будто не в человеческих

устах, словно исходили от неземных пери или гурий. Слышалось в них нечто колдовское, чарующее. Особенным шиком казалось, подсев к какой-нибудь старшекласснице, сроду не слышавшей комплиментов, прочитать с придыханием, явно смущая ее, строчку-другую из раннего Абая:

*Иузи - раушан, кәзі - гәуһар,
Лагилдек бет үші әхмәр,
Тамағы қардан һәм биһтар
Қашың құдрәт қоли шигә.*

Вроде бы и по-казахски, однако, не совсем: непонятные слова как бы зачаровывают, будто молитва муллы, искушают, как азазель-искуситель. Смутной тяге ко всему восточному способствовал и мой учитель казахской словесности – Жылгельды Муканов, эстет, златоуст, артист, умевший в торжественных случаях, точно маг-волшебник, искусно плести слова, придавая им особенный лоск, блеск и шарм, неотразимый лад и склад. Делал он это без напряжения, изысканно: как бы снимал коросту с расхожих казахских слов, придавал им первоначальное – иноязычное – звучание и вкус. Он произносил мягко, ласково: энсаф (ынсап), эхтият (ыктият), элтифат (ілтйпат), сұхән (ұсқьш), зәһр (зәр), заруар (зәру), мәшәккәт (машакат), мәмләкәт

(мемлекет), мәһрбан (мешрбан), файда, фани жалган, хакикат, хамал, бэчехар, бэрдеуат, гадауат – боже, всех этих очаровательных слов-словечек я теперь и не упомяну, но музыка, мелодичный звон сохранились приятным отголоском в душе.

Казалось, Жылгельды-мугалим снимал с обыденных казахских слов заскорузлый чапан, тяжелый тымак, непомерные сапоги в кошомных чулках и обряжал в легкие, яркие, восточные одежды. «Тысячу и одну ночь» читали в послевоенном ауле повально. Упругий сюжет, обаятельный динамизм, диковинные кружева слов, отточенные назидания, своеобразная поэтика, чудотворный строй речи, сказочная вязь очаровывали и юношей, и старцев.

Я грезил Востоком! Я блуждал по караванным тропам древних стран. Ходил по тесным, глухим улочкам Багдада. Вслушивался в заунывный голос муэдзина. Я упоенно произносил где-то вычитанные слова-названия: «Кабус-наме», «Гулистан», «Тути-наме», «Синдбад-наме». Я еще не знал, кто и что относится к арабской или персидской литературе. Я воспринимал все это как нечто единое, родственное и, несомненно, очень близкое ко всему казахскому, в котором я уже кое-что понимал.

Студентом первого курса я впервые прочел «Кабус-наме». Через год-два проштудировал впервые «Западно-Восточный диван» Гете. Потом по разным поводам обращусь к нему неоднократно. Восприму, впитаю в себя Восток через ощущения великого веймарца. Уже первое стихотворение этого дивного дивана – «Гиджра» – вновь всколыхнуло мою душу.

*Север, Запад, Юг в развале,
Пали троны, царства пали.
На Восток отправься дальный,
Воздух пить патриархальный.
В край вина, любви и песни,
К новой жизни там воскресни.*

То был трудный этап в моей жизни. Я был в растерянности. Душа в развале. Дискомфорт преследовал меня отчаянно. «К новой жизни там воскресни» чудилось спасением.

*Там, наставленный пророком,
Возвратись душой к истокам,
В мир, где ясным, мудрым слогом
Смертный вел беседу с Богом,
Обретал без мук, без боли
Свет небес в земном глаголе.*

Я, кажется, уже понимал тогда Гете, его мятущуюся душу, его всеохватное, страстное увлечение «светом небес в земном глаголе».

*В мир, где предкам уваженье,
Где чужое – в небреженье,
Где просторно вере правой,
Тесно мудрости лукавой.
И где слово вечно ново,
Ибо устным было слово.*

И мне чудилось, что только там, на Востоке, «слово вечно ново», что именно там «просторно вере правой». И стали моими кумирами («пир») Гете и Абай – два духовных собрата, чей поэтический и нравственный дух оказался соприроден и созвучен. И дивно слились во мне Запад и Восток. В их, - Гете и Абая - лице, я, этнический (российский и казахстанский) немец, обрел устойчивость и гармонию в этом вечно бурлящем мире.

Все эти мысли-раздумья пришли в мою голову не сейчас. Не в данный миг, когда я пишу эти строки. А сложились в течение шести лет, как я не расстаюсь с шикарно изданной, богато иллюстрированной, с любовью составленной Энциклопедией персидско-таджикской прозы в объеме около 70 печатных листов. От самого

издания, дизайна, формата, оформления, буйно ярких вклеек веет восточной роскошью и пышностью.

Содержание двух книг в шести томах составляет средневековая персидская проза: «Кабус-наме», «Синдбад-наме». «Сказки» – народный роман о благородном юноше Хатеме, «Гулистан», «Бахаристан», «Тути-наме». (Здесь я должен внести уточнение: собственно, первая книга называется «Персидская проза» и вышла в 2006 году; через год эта же книга вышла вторично с единственным добавлением стихотворения «Гиджра» Гете; а в 2007 году увидела свет и вторая книга.)

Издатель – ИП «ДАР» – Ахмет Дюсенбаев, вице-президент Фонда Ильяса Есенберлина, известный психофизиолог, автор уникального труда «Анатомия души» («ДАР», 2005), человек увлеченный, целеустремленный.

Словесные узоры поэзии Омара Хайяма, Хафиза, Саади и многих других чародеев Востока известны и любимы издавна в разных переводах. Их цитирует не одно поколение разноязычных читателей во всем мире. И казахской литературе знакомы их блестящие переводы. (Правда, переводов непосредственно с персид-

ского, все же, маловато – большинство опирается на русский посредник).

А вот о средневековой персидской прозе долгое время имели представление лишь специалисты-востоковеды и редкие любители изящной словесности.

Шесть броских и одновременно благородно-внушительных томов, с таким тщанием изданных А. Дюсенбаевым с комментариями, со вступительными статьями, с пояснением восточных реалий, с редчайшими иллюстрациями из сокровищ Посольства Исламской Республики Иран в Республике Казахстан, радуют душу самого привередливого, изысканного поклонника культуры Востока.

Чем привлекает современного читателя средневековая персидская проза? Если быть максимально кратким, тем, что:

- реальность той далекой, увлекательной, своеобразной жизни сочетается с вдохновенным, затейливым вымыслом, погружающим нынешнего прагматичного и несколько очерстневшего сердцем читателя в мир, «где ясным, мудрым слогом смертный вел беседу с Богом»;

- цветистая, ароматная, диковинно-фантастическая, ярко-образная проза то и дело пересыпана мудрой и чувственной поэзией Востока, что придает ей особый шарм и элегантность;
- магия увлекательнейшего повествования о превращениях, путешествиях, о женском коварстве, о влюбленных, о духах-дивах, о скупых и жадных, о тупых и мудрых околдовывает, зачаровывает вас чистотой и первозданностью, незамутненностью чувств, восторгом мироощущения;
- слух ласкает чистота речений, высокий слог, омытый мудростью, чувственностью, жизнелюбием, неизбывной радостью пестрого бытия;
- сама форма изложения – «обрамления», «рамочная повесть», полуфантастические странствия, очаровательные назидания, волнительная дидактика, неназойливые советы, отшлифованная опытом многих поколений и аурой своеобразной ментальности орнаментальная стилистика, плетение словесных кружев – все эти приятельные «элементы», как томящая

музыка, как сладостное пение и соблазнительные танцы небесных гурий, волнуют, будоражат, поражают, умиляют самого черствого современного читателя;

- неоценимое значение имеют эти творения восточного духа в воспитании художественного вкуса читателя. Ощущение такое, будто ты испил глоток воды из священного родника Зам-Зам.

В суете повседневных забот, в изнурительной борьбе со всевозможными кризисами, душевными сомнениями, дискомфортом и стрессами нет лучшего средства для спасения живой души, чем, отключаясь от всех треволнений, в тиши, наедине с собой, с наслаждением читать средневековую мудрую персидскую прозу, всецело окунаясь в диковинный, спасительный мир Востока, где сосредоточился многовековой опыт и чувственность человечества, где счастливо сосуществуют диковинный быт и изощренная фантазия.

У меня такое ощущение, что время и пространство воспринимаются Востоком и Западом по-разному. Запад все более привязан к «теперешнему», данному, конкретному, строго ограниченному времени и пространству; на

Востоке время и пространство тяготеют все более к категории вечности. Персидская проза тысячелетней давности очаровательно современна.

Она понятна и жизнеутверждающа во все века. И тут приходит в голову мысль Льва Толстого: «Я не понимаю и не люблю, когда придают какое-то особенное значение «теперешнему времени». Я живу в вечности, и поэтому рассматривать все я должен с точки зрения вечности. И в этом сущность всякого дела, всякого искусства. Поэт только потому поэт, что он пишет в вечности». Видно, это ощущение вечности восточного мировосприятия и прельщало в свое время Гете.

Конечно, у каждого прилежного читателя есть книги, к которым он обращается вновь и вновь. Такие книги есть и у меня. Порой душа как бы иссыхает, оскудевает, сплин охватывает все твоё существо, и белый свет, случается, становится не мил. Мучительная пора для творческого человека. Белый лист бумаги манит и отвращает, перо не бежит, не скрипит, буксует, сердце глухо, и в голове будто сквознячок гуляет, мысли вспорхнули и улетели, как стая птиц. И тогда меня, например, спасают, как бы аккумуляруют, настраивают на действие:

- Бунин (с его девяти томником не расстаюсь десятилетиями);
- Гете и Абай в оригинале, перед аруахами которых постоянно испытываешь стыд и неизбежную вину за свое невежество и бездарность;
- огромный том-альбом «Томас Манн», содержащий 1,5 тысячи фотографий и текстовых иллюстраций из произведений немецкого классика – подарок германского посла в Казахстане господина Бракло к моему 60-летию;
- персидская проза в шести томах.

Они-то и поддерживают мой дух, спасая от уныния. Вновь возвращают к жизни, дают энергию и стимул. Давно я осознал: самое страшное в мире – духовная опустошенность, нищета духовной культуры. Очевидная эта истина ныне не в чести.

Ныне сплошь помешались на долларах, на неумемной жадности, на кризисах и разных неурядицах. Надеюсь, пройдет, как и все на свете. Ибо человек должен (вынужден, обречен) понять, что украшение жизни, бытия, Вселенной – он. Только он, один он.

Омар Хайям это прекрасно понимал почти
тысячу лет тому назад:

*Сомненья нет, что цель творенья – это мы,
Что разума источник зренья – это мы.
И если мирозданье наше – перстень,
То лучшее в том украшенья – это мы.*

*Герольд Бельгер
«Казахстанская правда» № 57-58
от 15 февраля 2013 г.*

Содержание

Часть I.

Этюды из цикла «Плетенье чепухи»

Нет гор, нет утесов, а есть холмы, сопки, бугорки.....	3
Мысль будит мысль.....	5
Мои эпохи.....	7
Единство – благо. Но какое единство?.....	8
Кто во что горазд.....	11
О книгах хороших и плохих.....	11
Корней Иванович прав.....	13
Творческая мощь великих.....	14
Сколько гостей у казахов.....	15
В чем изюминка?.....	19
«Кыз Жібек» на латинице.....	21
Комплексы Альфреда Шнитке.....	23
«Да» или «Нет».....	26
Что значит исторический роман?.....	27
Скромный – это кто?.....	27
Атеист и Абсолют.....	28
Не проси.....	29
Обал-сауап.....	30
Как иголкой выкопать колодец?.....	31
Третья степень барса.....	33
Человек культуры.....	34
Основное направление.....	35
Снег, снег... ..	37
Ханеке.....	39

Часть II.

Миниатюры из цикла «Мой отец – Карл Бельгер»

Маленький король.....	43
Все для фронта!.....	49
Метель-канитель.....	55
«Отныне вот твоё занятие».....	61
Зарядка.....	65
Выборы.....	69
Отец копнил сено.....	78
Ночь в степи.....	86
Котлован.....	97
«Эй, недобитый Фриц, дай спирт!».....	102
Колодец.....	108
Оркестр.....	113
Ты Вову поздравил?.....	119
Сколько же в Ташкенте Бельгеров.....	121
Прадом.....	124

Часть III.

Этюды из цикла «Ой-хой, дунце, - бранный мир»

Познавая себя (Сократ-Гете).....	130
Любовь к ближнему и дальнему (Ф.Ницше-Т.Зульфикаров).....	144

Часть IV.

Статьи, рецензии

Слово – выстраданное чувство.....	154
Чары Востока.....	162

**ГЕРОЛЬД БЕЛЬГЕР
МИНИАТЮРЫ**

Ответственный редактор
Сафар Абдулло

Компьютерный дизайн: Карпун К.К.
Компьютерная верстка: Карпун К.К.
Корректурa: Корчина Т.Г., Фомина О.А.

Подписано в печать: 20.03.2013 г.
Формат 70x90 1/32
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Условн. Печат.л. 5.3. уч.изд. л. 10,5
Тираж 1000. Заказ № 59.

ТОО Издательский дом «Библиотека Олжаса»
050012 г. Алматы ул.Мауленова, 92.
Тел. 267-64-04, 267-63-15.

Отпечатано в типографии
ТОО «Полиграфсервис».
050050, г. Алматы, ул. Зелёная, 13 «А».



Бельгер Герольд Карлович

Выдающийся казахстанский писатель, переводчик, публицист, свободно пишущий на трех языках - казахском, русском, немецком. Родился 28 октября 1934 года в России, в городе Энгельсе, в семье поволжских немцев. В 1941 году его семью, как этнических немцев, депортировали в Казахстан. Вырос в казахском ауле, учился в казахской средней школе, свободно владеет казахским языком. Окончил филологический факультет Казахского педагогического института в г. Алматы. После окончания института работал учителем русского языка, затем в литературном журнале «Жулдыз». С 1971 года член Союза писателей Казахстана. С 1992 года был заместителем главного редактора, а затем главным редактором немецко-русского альманаха «Феникс». Писатель выпустил около 70 книг, изданных в России, Казахстане и Германии, которые получили мировое признание. Бельгер написал большое количество статей, эссе, очерков и литературных рецензий, является лауреатом Президентской премии мира и духовного согласия (1992), имеет Орден «Парасат» за № 1 (1994), Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2010).

Герольд Карлович Бельгер заслужил особое уважение и почитание среди читательской аудитории благодаря своей писательской бескомпромиссности и честности.

ISBN 978-601-7315-43-6



9 786017 315436